

18+

Мария Романуцко



Там, где всегда ветер...

Мария Романушко

**Там где всегда ветер... Роман
об отрочестве. Вторая редакция**

«Издательские решения»

Романушко М.

Там где всегда ветер... Роман об отрочестве. Вторая редакция /
М. Романушко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-513777-7

Роман посвящён самому трудному периоду становления человеческой души — отрочеству. Эта книга об одиночестве. О трагической разобщённости поколений. О страстных попытках обрести смысл жизни. О врачующей силе творчества. О том, что человек никогда не остаётся без помощи свыше. О том, что Бог говорит с нами через людей, которых мы встречаем на своём пути. Роман автобиографичный. Место действия — Украина. Время действия — 60-е годы XX века.

ISBN 978-5-00-513777-7

© Романушко М.
© Издательские решения

Содержание

Украина: Очень личная история	7
Войти в ту же реку	8
Там, где всегда ветер...	10
Часть 1. Жизнь в жёлтом цвете	12
На новом месте	12
Две Ани	14
Степная вольница	15
Первый вольногорский август	16
Бабушка	17
О маминой профессии	20
Опять же о бабушке	21
Осень	23
Про Фёдора и про Аню	24
Аня и Анечка	25
Повесть об отце	26
Сбор металлолома	28
Тайные походы в подвал	29
Болезнь жёлтого цвета	30
Жизнь за ширмой	32
Воспоминания о жизни на Философской	33
Длинные дни в пустой комнате	38
Всё в мире относительно	39
Как я молчала на уроке	40
Не как у людей	43
О жизни в Луганске	44
Страшный случай в Луганске	46
Что было хорошего в Луганске	48
Про молодого логопеда и старика Юнга	49
Рассказ о собачьей любви	51
Прогулки с Маришей	52
Книжный магазин	53
Встречения мамы	54
Спасибо Луганску	55
Про секцию гимнастики	59
Подмоченный праздник	60
Страшная экскурсия	61
Про ландыши	63
Про дядю Павла	64
Непростое решение	66
Всё-таки уезжаем...	67
Лежание за ширмой продолжается	68
Картофельный дух	69
Ёлка по имени сосна	70
Весной в балке	71
Полёт Гагарина	72
О наших родителях и наших идеалах	73

А потом пришло лето...	74
Курган	75
Наш сад	76
Хуторяне	77
Друзья: Козловы и Попельницкие	78
Жёлтые воды	79
Васильевка	82
Не забыть...	85
Карнауховка	89
Евпатория	90
Часть 2. Вопросы без ответов	96
Прыжки в прошлое	97
Маришкины пальчики	98
Про Мусю	102
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Там где всегда ветер...
Роман об отрочестве. Вторая редакция
Мария Романушко

Мария Романушко *Иллюстратор*

© Мария Романушко, 2020

© Мария Романушко, иллюстрации, 2020

ISBN 978-5-0051-3777-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Украина: Очень личная история ***(Предисловие от автора ко второй редакции)***

Место действия – Украина.

Время действия – середина XX века.

Очень личная история...

Роман «Там, где всегда ветер...» – это роман об одиночестве. О самом отчаянном одиночестве, которое настигает человека в отрочестве. В книге – горькая, как полынь, правда о непонимании между поколениями. Правда о трагической разобщённости самых близких людей...

Время, описанное в романе, – 1960—1968 годы. Действие разворачивается в небольшом засекреченном городке, в степях под Днепропетровском. Главная героиня – девочка-подросток, которая мучительно быстро взрослеет. Которая знает больше, чем надо бы знать в её возрасте. Она проходит через духовные испытания, которые временами кажутся ей не по силам. Но девочка их проходит, потому что деваться некуда – это её путь, по которому её ведут стечение обстоятельств, судьба... Но лучше сказать – Бог. Потому что ничто не происходит в нашей жизни без Его ведома.

Эта девочка-подросток, эта юная девушка – я.

Книга автобиографическая. Вымысла в ней нет, потому что в нём нет нужды. Жизнь грандиознее любого вымысла.

Книга психологическая и, в то же время, нежно романтическая. Кроме того, в ней показан исторический срез яркой, парадоксальной, неповторимой эпохи...

Книга о страстных попытках понять, как устроена жизнь.

А ещё эта книга о великой, врачующей силе творчества.

Роман уже выходил 13 лет назад. Но в его первой редакции я о многом не рассказала – потому что в ту пору не хватило душевных сил. Во второй редакции я постаралась заполнить все пустоты в повествовании. Благодаря этому, в романе появились дополнительные измерения, краски, мелодии...

Спасибо всем, кто прочтёт эту книгу.

Мария Романушко,
15 февраля 2016, Сретенье

Войти в ту же реку **(Предисловие от автора к первой редакции)**

Я думала, что никогда не буду писать о том времени. О своём, теперь уже далёком, отрочестве. Не буду потому, что там ПУСТО. Так, несколько эпизодов. Не стоит утруждать ни себя, ни читателя.

Я говорила своим детям, сыну и дочке: «Удивительно – единственный период в моей жизни, о котором мне нечего вспомнить, – это переломный возраст. Ну, спрыгнула по глупости с балкона, ну ещё пару экстравагантных случаев – и всё. О детстве могу рассказывать до бесконечности, а вот об отрочестве... Решительно не помню, что там было! И даже вспоминать не хочется».

Я думала, что никогда больше не приеду в тот город, где прошло время моего отрочества. Зачем? Когда там пусто.

Но однажды... Однажды я призналась себе: я не стремлюсь туда потому, что там БОЛЬНО. Вся ткань жизни, от девяти до восемнадцати лет, как будто соткана из боли: к чему ни прикоснись памятью...

За месяц до своего совершеннолетия я уехала из этого города. Уехала навсегда. И потому те места для меня не заросли новой травой... В том месте у меня больше ничего не случилось. Ни новых встреч, ни взросления, ни любви.

В том городе (для меня) как будто законсервировалось ТО ВРЕМЯ, когда мне было больно и пусто.

Но прошли годы, моему сыну было уже семь лет, и меня вдруг что-то позвало пройти по тем же улочкам... Ностальгия? Да, вроде, нет. Просто захотелось увидаться со старыми друзьями и навестить учителей, которые были ещё живы, и подарить всем свою первую, только что вышедшую книгу.

Был и другой повод приехать – я хотела сделать приятное своей маме: она бы сама в тот город не выбралась, а ей, я знала, очень этого хотелось. Мама в том городе была счастлива (по крайней мере, так ей теперь кажется). «Правда, мы хорошо тогда жили? Так дружно, весело...» – говорит она иногда. Вот у мамы действительно ностальгия по тому времени и по тем местам. А я слушаю её и думаю: как же по-разному взрослые и дети воспринимают жизнь, как далеки они в своих переживаниях, как мало взрослые знают своих детей, как глухи они к их слезам, если об одном и том же времени, прожитом вместе, взрослый говорит: «Какое счастье!», а его ребёнок думает: «Какая боль...»

Да, возможна и обратная ситуация: взрослый страдает, а ребёнок рядом веселится... Но при таком неравенстве переживаний – хвала взрослому, что он не заразил ребёнка своей тоской.

Итак, мы съездили в тот город на несколько дней втроём: мама, мой сынок Антоша и я. Три июньских дня я ходила по этому городу точно с закрытыми глазами: видела – и не видела, чувствовала – и не чувствовала. Больше всего в тот приезд я боялась опять ... Мне удалось не войти. *войти в ту же реку*

Прошло ещё много лет, и теперь уже моя шестилетняя дочь попросила меня: «А давай съездим туда, где весной цветут подснежники. И где ты прыгала с балкона. Я хочу увидеть подснежники и этот балкон».

Я не могла отказать любимой дочке. И мы с ней отправились ТУДА.

Но... подснежников мы в тот раз не увидели. Хотя это была весна, середина марта, юг Украины, но какой-то весёлый волшебник устроил накануне нашего приезда невиданную

в этих краях зиму. Он завалил снегом этот мир до самых крыш!.. Какие уж тут подснежники? И до исторического балкона мы не дошли...

И опять я смотрела вокруг – и не видела, и, как и в первый приезд, больше всего боялась ... Нет, я не вошла, я устояла на берегу. Лишь посмотрела на её, скованное льдом и заваленное снегом, русло с замиранием сердца... *войти в ту же реку*

И вот – третий мой приезд сюда. Опять с дочерью. Опять по её просьбе: «Я всё же хочу увидеть, как цветут подснежники!» Ей уже тринадцать, она сама в переломном возрасте. Может, в этом-то всё и дело, думаю я теперь. Я приехала в город своего отрочества как бы на волне Ксюшиного отрочества, именно сейчас ПРОШЛОЕ время совпало с НАСТОЯЩИМ – и, сама того не заметив, уже без страха и сопротивления, ... *я вошла в ту же реку*

* * *

...Уже четыре месяца с той апрельской поездки. Кстати, тогда ведь и Антон на пару дней залетел в тот город, присоединился к нам... Итак, уже четыре месяца. А меня до сих пор не отпускает моё отрочество. И я всё плыву и плыву по той давней реке, которую считала давно пересохшей, а она – вот она, быстрая и полноводная, и несёт она меня, вопреки всем законам физики и географии, не к устью – а к истоку...

*Мария Романушко,
август 2003*

Там, где всегда ветер...

Ветер!.. Очень сильный ветер! Горячий и жёсткий, с мелкой наждачной пылью, он обжигает лицо, колет глаза и сушит всё внутри: как будто вдыхаешь не воздух, а сухую, шершавую бумагу...

Я стою посреди голой степи, солнце – в зените, июль. Страшно жарко, вокруг – ни одного деревца, под которым можно было бы спрятаться. Одно слово – степь!.. Плоская и раскалённая, как сковородка.

За занавесом из пыли виднеется недлинная цепочка двухэтажных домиков. Совсем новеньких, светло-серых, кирпичных, с маленькими балкончиками, – как будто игрушечных. Так это и есть тот самый город, о котором мама, приезжая ко мне в пионерский лагерь в Карнауховку, говорила столько романтических слов?.. «Молодой город, будущий комбинат, так интересно начинать всё с нуля...»

Маленький автобус, на котором я только что приехала, взял трёх пассажиров и уехал обратно по своему пыльному маршруту. Вокруг – ни души.

А я стою посреди жаркой, пыльной степи и жду маму. Мне десять лет (кстати, исполнилось две недели назад, в лагере). Я только что приехала из этого лагеря, приехала совершенно самостоятельно, хотя это и не так уж близко – другой город. Приехала по маминой инструкции, которую она мне оставила, навещая меня. Забрать меня было некому: на руках у бабушки – моя двухлетняя сестрёнка Маришка, а мама и Фёдор (мой отчим) уже вышли на новую работу на новом месте. Так что, пока я была месяц в лагере, жизнь семьи круто изменилась.

Навещая меня в лагере, мама рассказала, что совершенно случайно, на улице в Днепрпетровске, встретила своего бывшего однокурсника Володю Мамонтова. «Ну, как дела?» – спросил он. «Да вот, ищем с Фёдором работу. Не прижились в Оренбурге. Не прижились Луганске», – сказала мама. «Так давайте ко мне в Вольногорск! – тут же предложил Мамонтов. – Мне позарез нужны такие специалисты, как вы с Федькой. Это просто судьба, что я тебя встретил!»

Мамонтов, с которым моя мама и Фёдор учились вместе в Днепрпетровском инженерно-строительном институте, был теперь управляющим крупным строительным трестом. Этому тресту предстояло построить горно-обоганительный комбинат и город – в степи, в трёх часах езды от Днепрпетровска. Здесь открыли крупное месторождение титановых руд. «Крупнейшее в Европе и третье в мире!» – с гордостью уточнил Мамонтов. Руды залегали не глубоко, можно сказать – на самой поверхности, хоть лопатой копай! «Так что, добыча будет производиться открытым способом. Это же настоящий Клондайк! Начинаем строить перерабатывающий комбинат. О таком деле можно только мечтать!» – горячо убеждал маму бывший однокурсник.

Титан шёл на обшивку ракет, а ракетостроение было тогда (шестидесятые годы XX века) в самом разгаре, и как раз в Днепрпетровске – главные ракетостроительные заводы страны. (А страна – Советский Союз). «Ты помнишь, как мы мечтали что-то оставить после себя? – говорил Мамонтов. – Так вот, предоставляется шикарная возможность! Комбинат ещё на нулевом цикле, город – всего четыре улочки. Всё только начинается! Я уже многих наших ребят к себе перетащил. Такая боевая команда собралась! Но специалистов всё равно не хватает. Соглашайся, не пожалеете! Будет что внукам потом рассказать: построили комбинат и город в степи на пустом месте! Звучит?.. Ещё как звучит!»

– А школа в твоей степи есть? – спросила мама.

– Школа есть.

Так всё и решилось – можно сказать: за несколько минут. Уговаривать Фёдора долго не пришлось – у него руки давно горели по большой настоящей работе.

Квартиру дали тут же. Так что к моему возвращению из лагеря бабушка с Маришей и мама с папой Федей уже обосновались в Вольногорске. Стало быть, в одном из этих домиков?.. Жалко, что мама не сказала адреса. Она сказала: «Выйдешь из автобуса и жди меня, я за тобой приду, у меня в это время как раз обеденный перерыв». Где же она?

Далеко-далеко, на другом конце тропинки, уходящей куда-то в степь, показалась женская фигурка. Всё ближе, ближе... Мама!.. Бегу к ней навстречу, размахивая своим маленьким чемоданчиком...

Часть 1. Жизнь в жёлтом цвете

4 класс. Мне 10 лет. Год 1960—61

На новом месте

Всё было так, как говорил Мамонтов. В Вольногорске мои родители встретили многих старых друзей. Все теперь работали бок о бок, иногда – буквально. Мамин рабочий стол в инженерно-конструкторском бюро стоял вплотную со столом Юры Сергеева, с которым мама училась в институте. А с женой Юры, Ольгой, мама оканчивала строительный техникум.

У Юры и Оли была дочка Аня, моя ровесница. Это – первое, о чём сообщила мне мама, когда мы шли с ней к нашему новому дому: «Тебя здесь ждёт чудесная девочка Аня. Дочка моих друзей. Надеюсь, вы подружитесь, и скучать тебе не придётся».

* * *

Наш дом оказался самый ближний к автобусной остановке. Мы с мамой дошли до него за одну минуту. Три лестничных пролёта – и за дверью уже слышен щебечущий Маришкин голосок... Вот здесь мы теперь будем жить. Долго ли, коротко ли?... Когда у тебя родители – строители, долго на одном месте не бывает.

Наша квартира на втором этаже – огромная-преогромная, такой у нас ещё никогда не было. К тому же она почти пустая, по комнатам гуляет эхо и весёлый топот Маришкиных ног...

Окна спальни и кухни выходят во двор, скучный, выжженный солнцем, с квадратом песочницы и засохшими прутиками не прижившихся деревьев. А окна двух других комнат смотрят в степь!

Степь, степь... До самого горизонта. Так было и в Оренбурге на Полигонной улице. И вот я опять живу в степи. Что-то повторяется, а что-то совсем по-другому. Там мы жили в большом старинном городе, в самом крайнем доме, где город кончался, и начиналась степь. Жили на границе города и степи.

А здесь, в Вольногорске, – как поётся в песне: «Степь да степь кругом...» Степь – все оттенки зелёного и жёлтого цвета... И степь, и небо – всё раскалено солнцем. Высокие травы колышутся под ветром, как волны...

Если выйти на маленький балкон, кажется – стоишь на капитанском мостике среди жаркого жёлто-зелёного океана, и ветер забивает дыхание... На таком просторе, на таком ветру мы ещё никогда не жили...

Потом, со временем, откроется причина этого упорного, всегдашнего ветра в этих местах. Оказывается, здешняя степь – это не просто степь. Это на самом деле – плоскогорье!

Вольногорск находится на довольно большой высоте над уровнем моря. Выше Днепропетровска и других ближайших городов. Наши четыре улочки – на большой, плоской высоте, продуваемой со всех сторон ветрами. Город на плоскогорье, заросшем травами...

Мне очень нравилось имя нашего города: Вольногорск – Вольный Город!..

А где-то далеко – посреди степи, виднеется стройка – это будущий комбинат.

* * *

Утром из-за горизонта выползает огромное солнце, здесь оно каких-то невероятных размеров, как будто и не наше привычное Солнце, а какая-то совсем другая слепящая звезда...

И вообще, мы живём как будто на другой планете – так здесь непривычно просторно, плоско, пустынно, ветрено и безлюдно...

Две Ани

А теперь о девочке Ане. Оказалось, что Аня – не одна, их – две. Аня Сергеева, о которой мне радостно сообщила мама, и Анина подружка – Аня Удрис. Обе Ани живут в соседнем дворе и учатся в одном классе – в четвёртом.

В этот же класс записали и меня. Впрочем, это был единственный вариант, так как школа в Вольногорске одна, и четвёртый класс в школе тоже один. Детей школьного возраста в городе пока наперечёт. В нашем классе чуть больше десяти человек.

Ани очень разные. Аня Сергеева – высокая, спортивная девочка, с ярким румянцем на щеках, две золотистые косы переброшены на грудь. Не девочка – а живая картинка. Её жёлто-зелёные кошачьи глаза всегда смеялись. Аня была заводной и остроумной.

Аня Удрис – полная ей противоположность. Невысокая и худенькая, тихая, застенчивая девочка. Тёмно-карие глаза казались немного грустными. Толстая чёрная коса до пояса завершала её задумчивый образ.

И внешне, и по характеру Ани были совершенно разные. У них, если присмотреться, вообще не было ничего общего. При этом девочки дружили и были неразлучны.

Аню Сергееву я про себя называла «Аня-большая», а Анечку Удрис – «Аня-маленькая». Или короче: Аня и Анечка.

Если перейти наискосок мой двор – выйдешь к дому Анечки. А если завернуть за угол её дома – тут же дом Ани. От дома Анечки до дома Ани – десять шагов. Они обе живут на первом этаже, их окна смотрят друг на друга. В домах ещё нет телефонов, но можно, проходя мимо, постучать в окошко...

Степная вольница

Аня-большая всегда затевала игры – волейбол, вышибалы, штандер... В своём дворе она была заводилой, всегда придумывала что-нибудь интересное. Она была прирождённым лидером. То она вела всех в степь, где были балки (так назывались на местном наречии овраги), и там начинались игры «в Чапаева», или в разбойников, и во всех играх Аня была неизменным предводителем. То она вела всех по чердакам наших домов, где за трубами заранее оставляла всякие «секретные» записки, в которых были указания: куда идти дальше.

Одним словом, Аня никогда не скучала и не давала скучать никому.

Надо сказать, что в этом степном городке дети, а в особенности мы, подростки, были предоставлены самим себе. Была полная свобода. Особенно летом. Родители все дни на работе, бабушек ни у кого, кроме меня, не было. Да и моя порой уезжала к себе домой, в Днепропетровск. То есть – бабушки-то были у многих, но почему-то никто из них особенно не рвался из своих обжитых мест в эту голую, пыльную степь.

В Вольногорске для нас, подростков, была настоящая вольница! Иди куда хочешь – на все четыре стороны. Главное – прийти вовремя к обеду домой (родители на обед приходили домой). А потом не забыть вернуться к ужину.

Родители не боялись, что дети потеряются – где тут потеряться? Тут не было даже трёх сосен, где можно было бы заблудиться. Родители не боялись, что с детьми что-то случится: здесь не было водоёма, где можно было бы утонуть. Здесь по городу не ездили машины, под которые можно было бы угодить. Все машины, в основном, самосвалы были за пределами города – на стройке. А частных машин ещё ни у кого в городе не было.

Родители не боялись, что дети обидят друг друга – первые годы все жили, как одна семья, и я не помню случая, чтобы кто-то из ребят подрался, или хотя бы поссорился с кем-то. Не было такого.

Кстати, двери квартир или вовсе не запирались (от кого их запирать?), или ключ клали под коврик у двери – но не для того, чтобы его спрятать, а просто, чтобы не носить в кармане и не потерять. И все в городе прекрасно знали, где лежат ключики. Но я не помню ни одного случая кражи.

Так что единственный в городе страж порядка (он жил в нашем доме, в соседнем подъезде) очень скучал, потому что был, по сути, безработным.

Думаю, что Вольногорск первых лет существования – место поистине уникальное. Особенно если взглянуть на то место, и на то время из жёсткого сегодняшнего дня: начала XXI века.

Так что учитесь, дорогие потомки, как можно хорошо, по-человечески жить: никого не боясь, ни от кого не запираясь. Вам такое и не снилось за вашими запорами?

Первый вольногорский август

Щедрый на жару август... И щедрый на плоды земли, которые можно купить у хуторян.

Бабушка делает заготовки овощей на зиму, идёт засолка огурцов и помидоров, в доме головокружительно пахнет укропом... Фёдор привёз откуда-то несколько новеньких, пахучих бочек. Бабушка их называет кадушками.

Под домом – подвал, у всех жильцов в подвале есть сараи. Эти сараи заменяли холодильники, которые в то время были далеко не у всех. У нас, например, не было. Холодильник был признаком роскоши. Но наша семья пока не шикует, у нас и мебели-то нет, только несколько железных кроватей, да диванчик с валиками ещё из Оренбурга, да мой письменный стол.

Три полупустые комнаты и пустой просторный холл – хоть на велосипеде катайся! Но велосипеда тоже пока нет.

И вот у нас появляется свой сарай в подвале. Там, в подвале, будут жить наши бочки, наполненные доверху солёной вкуснятиной. Я обожаю всё солёное. Просто дрожу, когда слышу запах чего-нибудь солёного – никаких шоколадок не надо!

Мне нравится помогать бабушке в этом необычном деле. Тереть на тёрке морковь, помещивать на огне рассол, мыть большие охапки укропа... Мы – городские люди и никогда раньше этим не занимались. Но моя бабушка – великая умелица, она умеет всё на свете, за что ни возьмётся.

Впрочем, она ведь родилась в селе и жила там до восемнадцати лет, давно это, конечно, было, но бабушка говорит, что всё, чему её научили когда-то родители и старшие сёстры, её руки помнят до сих пор. Она и меня старается всему научить.

Ей нравится, что у нас теперь будет всё своё – квашеная капуста, огурцы и помидоры. От этого здешняя жизнь немного похожа на деревенскую, и это так необычно.

А Федор говорит, что весной мы возьмём в степи участок земли, как сделали уже многие горожане, и посадим свой огород. Или свой сад. Что захотим.

Ничего себе!.. Какая удивительная у нас тут намечается жизнь.

Бабушка

Моя бабушка – страстная натура. Всё, что она любит, она любит пылко, а всё, что она делает, – делает с азартом и стремительно. Знакомые говорят: «У Дарьи Лаврентьевны всё горит в руках!» Её стихия – это домашнее хозяйство.

У бабушки есть три божества, которым она поклоняется, и которым верно, неумолимо служит – это Чистота, Красота и Вкуснота! Всё в доме должно сверкать, всё должно сиять. Всё должно быть накрахмалено и отутюжено. Все должны быть одеты, «как с иголочки». Все должны быть накормлены вкусно и до отвала. В бабушке очень много энергии. Она не может сидеть ни минуты без дела.

* * *

Каждое утро, проснувшись раньше всех, бабушка отправляется на маленький, но изобильный базар, который рядом с нашим домом. Ей это – в удовольствие.

Продавцы за прилавками – тётушки в белых платочках с окрестных хуторов, до черна загорелые на степном солнце, полные, краснощёкие украинки с мягким говором: «Бэрить, бэрить, усэ свижэ! Молоко парнэ, утришне, яйки з-пид квочки, укруп тильки што з грядки! Купуйте!»

Всё – ароматное и страшно аппетитное, особенно горы белоснежного творога и банки с густой, лоснящейся сметаной... Когда по воскресеньям мы ходим на базар вместе с бабушкой, мне очень нравится смотреть на всю эту красоту. Но только смотреть! Потому что есть этого я не могу – у меня аллергия на всё молочное. Так что восторг мой у молочных прилавков – чисто эстетический, а не гурманский. Но когда мы переходим в овощные ряды, тут у меня начинают течь слюнки.

Наша бабушка знает, что такое голод, – это она испытала во время войны в фашистских концлагерях, – там ей давали есть одну лишь похлёбку из брюквы. Знает, и что такое жизнь впроголодь (после войны, на хлебные карточки). Поэтому ей так приятно бывать на базаре, где много всякой еды, такой привлекательной и доступной по цене. «Так хорошо, как в Вольногорске, мы ещё никогда не жили», – говорит бабушка.

* * *

Приготовление еды – это для бабушки как любимая песня!.. Она не может приготовить что-нибудь простенькое, по-быстрому, – ей это совершенно не интересно. Она всё время что-то жарит, печёт, шинкует, проворачивает, тушит, взбивает. В большой кастрюле то и дело пучится дрожжевое тесто... На кухне жара, чад (то и дело подгорает лук...) Бабушка распаренная, с пунцовыми щеками, утирает лоб концом фартука...

Не заглядывая ни в какие кулинарные книги, бабушка делала такие потрясающие блюда, которые я потом никогда в жизни нигде больше не пробовала. Наша бабушка – великий кулинар. Её девиз: чтобы было ВКУСНО!

Только бабушка готовила такие вкусняющие картофляники и зразы, и пирожки с разной всячиной, и обалденную баклажанную икру, и многое, многое другое, на что ей не было жаль ни времени, ни сил.

И я была рядом, помогала бабушке, мне это очень нравилось. Смотрела на быстрые, умелые бабушкины руки, записывала на плёнку памяти бабушкины кулинарные секреты...

* * *

А ещё бабушка обожает всякое рукоделие. И, прежде всего – шить. Бабушка великолепная портниха. Она обшивает всю нашу семью. Только в двадцать лет у меня появятся первые покупные платья, а до этого всё, вплоть до пальто, было сшито бабушкиными руками.

Маме она шила такие прелестные наряды, что современные модельеры, все эти новомодные «кутюрье», в подмётки не годятся моей бабушке! Она делала очень красивые, как ска-

зали бы теперь – эксклюзивные вещи, со множеством ручной кропотливой работы: всякие там мережки, сложные строчки, воланы, ришелье, аппликации, разные отделки, вышивки, рюши... Она умела всё! Каждое платье, сделанное бабушкиными руками, было произведением искусства.

Она не могла сшить простецкую, заурядную вещь – ей это было скучно и унизительно. Произведением искусства был даже рабочий фартук для кухни – бабушка непременно должна была его чем-то украсить, какой-нибудь оригинальной отделкой, кармашками.

Всё было приятно взять в руки, на всё было радостно посмотреть. И вот что удивительно: бабушке на всё хватало времени и сил. Главное, чтоб было КРАСИВО! Занимаясь трудоёмкой ручной работой, бабушка испытывала настоящее творческое наслаждение.

Ещё она любила вязать – спицами и крючком, и делала это виртуозно. Ещё она обожала вышивать – гладью и крестом, причём, исключительно по собственным эскизам – бабушка хорошо рисовала. А ещё она умела ткать, делала весёлые половички и коврики, разные красивые салфеточки и прочие чудеса... Бабушка говорила: «Я могла бы быть художницей, если бы судьба дала мне возможность учиться. Но – не дала... Так я и осталась самоучкой».

Бабушка и меня к моим десяти годам ненавязчиво многому уже научила. Я у неё вроде подмастерья, и мне это нравится: обметать петли, подшить подол «козликом» и многое другое. Вышивать стебельком бабушка научила меня, когда мне было года четыре. А в шесть лет я уже заправски вышивала крестом.

Жаль, что мама с бабушкой не сохранили мои детские вышивки, и я не могу показать их дочке. При переездах всё детское творчество, без сожаления, выбрасывалось, вместе с ворохом ненужных вещей.

* * *

А ещё бабушка умела страстно ругаться! Когда я смотрела грузинский фильм «Я, бабушка, Илико и Илларион», то в грузинской бабушке – в этой взрывчатой, крикливой, щедрой на проклятья старушке (хотя в душе доброй и любящей) – я увидела свою дорогую, любимую бабушку.

Моя бабушка также пылко ругалась – по любому поводу! Хотя никаких нехороших слов она не говорила и отродясь не знала. Бабушка была интеллигентным человеком. Самое страшное бабушкино слово – «зараза». А ещё она изобретала какие-то свои неожиданные словечки. Она любила филологические эксперименты, на стыке двух языков – русского и украинского.

Крику, крику был полный дом!.. Наверное, и в моей бабушке была капелька грузинской крови, хотя внешне это было и незаметно: у бабушки были синие глаза и русые волосы. Но страстность натуры выдавала в ней чисто южного человека, у которого, как говорится, «язык без костей».

Из-за какой-нибудь ерунды бабушка могла учинить такой скандал, что хоть святых выноси! Да и мама от неё тоже не отставала – яблоко, как говорится, от яблони... С одной только разницей: бабушка, накричавшись, быстро остывала и опять становилась доброй и приветливой, а мама после ссоры долго пребывала в мрачном настроении, замыкалась в себе, ни с кем не разговаривала.

* * *

И Фёдор был молчуном. Он мог неделями ни с кем не разговаривать. Ну, разве что с Маришкой. Маришку Фёдор обожал, хотя и мечтал когда-то о сыне. Но когда вместо ожидаемого мальчика рождается нежданная девочка, то всем кажется, что именно так и должно было быть, и все начинают любить эту девочку, как сумасшедшие.

Моя маленькая сестрёнка Маришка, которой было два года, звенела в доме, как колокольчик...

О маминой профессии

А вот мама к этому всему была совершенно равнодушна – и к рукоделию, и к готовке еды тоже. Она говорила: «У меня мужская работа, и я на ней абсолютно выкладываюсь».

Мама – инженер-конструктор. На работе она делает сложные расчёты. Например, когда мама работала в Днепропетровске, на заводе металлоконструкций, она рассчитывала, какими должны быть несущие металлические конструкции (то есть – скелет здания) у нового Московского университета. Его строили тогда на Ленинских горах – самое высотное здание в Москве и на ту пору даже в Европе. Мама гордится этой работой. Ещё бы! Это было очень сложное задание, и его поручили именно маме, потому что она никогда не ошибалась.

Расчёты мама делала с помощью логарифмической линейки. (Компьютеров в ту пору ещё не существовало). И если бы расчёт несущих металлоконструкций был сделан неправильно, то самое высокое здание страны рухнуло бы! Но оно – не рухнуло. И всё благодаря моей маме.

О маме говорили, что у неё необыкновенно светлая голова. Когда она училась в институте, её называли «гением сопромата». Был такой страшный для всех студентов предмет – «сопромат» (сопротивление материалов), а мама его щёлкала, как семечки! Мама говорит, что у неё способности к точным наукам – от её отца. От моего деда Андрея. Которого я, к сожалению, никогда не видела, потому что его расстреляли немцы во время войны. Осенью 41-го года, за девять лет до моего рождения...

Но, вообще-то, мама в юности мечтала быть авиаконструктором. Эпоха тогда была такая – все смотрели в небо. Кто хотел летать, кто – строить самолёты. Кумиром молодёжи был лётчик Валерий Чкалов, бесстрашный и бесшабашный.

Но авиаконструктором мама не стала – помешала война. А после войны надо было как можно скорее получать профессию. Первый техникум и первый институт, которые после войны объявили набор студентов, – были строительные. Так что выбирать не пришлось.

И хотя мама любит свою работу, всё равно где-то в глубине души её саднит мысль, что мечта её не сбылась. «Я бы смогла...» – с грустью говорит она.

Опять же о бабушке

Бабушка страстно любила книги. Приготовив обед, она ложилась отдохнуть на диван, с книгой в руках – это были её лучшие минуты... Книга для бабушки – это святое. Чтение – не безделье, чтение – высшая форма жизни.

Бабушка была настоящей книгоглотательницей. С юности. Она говорит, что когда вышла замуж за своего первого мужа, Яшу, то порой даже забывала ему еду приготовить, потому что целый день, зачитавшись, могла просидеть на печке с интересной книгой. «Но Яшенька понимал мою страсть и меня не ругал, – говорит бабушка. – Царствие ему небесное».

(Яша умер от туберкулёза совсем молодым, деток они с бабушкой нажить не успели).

* * *

А ещё бабушка любит писать длинные письма своим лагерным подругам. У неё есть несколько подруг, с которыми она была во время войны в подполье. А потом прошла с ними Освенцим, Маутхаузен, Дахау и Равенсбрюк – эти страшные фашистские концлагеря... На руке у бабушки наколол синей татуировкой освенцимский номер – 65242. У её подруг тоже такие номера.

В лагерях бабушка подружилась ещё со многими. Моя бабушка любит и умеет дружить.

Теперь бабушка и её подруги активно переписываются и ездят друг к другу в гости. Скусают друг по другу, если долго не видятся. У них больше, чем дружба в обычном понимании – они помогли друг другу выжить и не сойти с ума ТАМ, где многие не выдерживали...

Некоторые из бабушкиных подруг – те, кто помоложе, называют бабушку «лагерной мамой». Говорят, что она в лагере, как мать, отогревала их своим теплом. Да, у моей бабушки есть удивительное свойство: она никогда не мёрзнет, у неё всегда горячие руки, ей всегда жарко. И она умеет отдавать своё тепло другому. Она умеет согреть замерзающего, умеет вдохнуть в него свою энергию. Её руки согревают и лечат.

Я, когда была маленькая, каждый вечер испытывала это на себе. «Ну, где тут мой лягушонок?» – говорила бабушка, нащупывая под одеялом мои холодные руки и ноги. И – через несколько минут – мне становилось жарко! Такая удивительная моя бабушка. Об этом говорят и её «лагерные дочки» – она их согревала своим теплом в холодном бараке...

(Интересно, что через много лет, бабушки уже к тому времени не будет на свете, способность согревать и лечить руками откроется и у меня).

* * *

А на День Победы бабушка всегда ездит в Новомосковск. Есть такой город на реке Самаре, под Днепропетровском. Здесь каждый год 9 мая собираются все, кто остался жив из их подпольной организации. И они идут все вместе, с цветами, к братской могиле, где похоронены их товарищи.

И мой дед Андрей там похоронен – мамин отец.

Один раз бабушка и меня возила туда. В этот городок. Мне было года четыре. И я очень хорошо всё запомнила...

Было жаркое лето, на безлюдных тихих улочках повсюду цвела и очень сильно пахла белая акация, и все тротуары были усыпаны белыми цветами...

Братская могила была не на кладбище, а недалеко от домов. «Здесь их расстреляли, здесь и похоронили, – сказала бабушка. – Сорок пять лет было твоему дедушке. Хотя стать дедушкой ему было не суждено».

Пекло солнце. Над могилой жужжали шмели...

Я прочла имя своего деда на небольшом, скромном памятнике – «Андрей Панченко», в длинном ряду других имён...

И было мне очень, очень грустно...

Осень

Первая вольногорская осень. Вдоль улочек и во дворах идут посадки деревьев. Все горожане, взрослые и дети, радостно участвуют в этом деле. Сажают клёны, белую акацию, ивы и длинные аллеи пирамидальных тополей, которые растут быстро, быстрее других деревьев. На саженцах весело трепещут листья, как зелёные флажки на ветру...

Теперь мы с бабушкой по вечерам поливаем деревца у нашего дома, очень желая, чтобы они прижились.

Пока что деревья растут только во дворе Ани-большой. Там же есть и небольшой фонтан. Правда, без воды. Но всё равно красиво. Это – центр города. Маленький круглый центр маленького квадратного города.

Неужели и у нашего дома весной зазеленеют деревца?.. Вот будет здорово! А потом они дорастут до нашего второго этажа и немного прикроют нас от этого сумасшедшего солнца...

* * *

Когда мама приходит с работы, у неё почти всегда болит голова. А когда у мамы болит голова, у неё резко портится настроение. Какое уж тут рукоделие, или готовка еды? Или вообще что-либо. Бабушка говорит, что маму «сжирает» её работа.

Единственное, на что у мамы остаются силы, это повязать голову шерстяным шарфом и лечь на диван с книгой в руках. На тот же диван, на котором бабушка лежала днём, и порой с той же книгой в руках.

Если в доме появилась новая книга, её все читают наперебой. Любовь к чтению – это у мамы и бабушки было общее. Этим они заразили и меня с раннего детства.

Чаще всего мама лежала на диване в обнимку с Чеховым или Тургеневым...

Про Фёдора и про Аню

Фёдор с детства хотел быть строителем. Он убеждён, что строитель – лучшая профессия на земле. Он уверен, что и мы с Маришкой будем строителями. А кем же ещё?! И когда я начинаю с ним спорить, говорю, что на свете много других хороших профессий, он тут же заводится, и у него начинают гулять желваки на скулах. Я его в такие минуты боюсь...

Мама потом говорит: «Да не спорь ты с ним! Разве с ним можно спорить? Ты же видишь, что он фанатик своей профессии!»

Фёдор ходит на работу даже в выходные, его почти никогда нет дома. Вечером возвращается поздно, возбуждённый, довольный. Но бывает и злой.

Тогда на глаза ему лучше не попадаться – к чему-нибудь обязательно прицепится и начнёт «пилить» – читать нотацию. Мне кажется, это его второе любимое дело после его строительной работы – читать мне нотации: какой я должна быть, и какой не должна. Не должна глазеть в окно, не должна воротить нос от тарелки, не должна спорить со старшими, не должна получать четвёрки, ну, и так далее...

А должна быть – как Аня Сергеева: отличницей во всех смыслах. Аня Сергеева – для Фёдора идеал девочки. И для моей мамы тоже. Каждый день, приходя с работы, мама рассказывает мне, какая замечательная девочка Аня. Ведь мама сидит на работе бок о бок с её папой, и Анин папа с гордостью рассказывает всему отделу, и прежде всего – моей маме, какая у него необыкновенная дочь. Дядя Юра обожает свою Аню!

И я за ужином, по обыкновению, выслушиваю от мамы, какие замечательные поступки совершила вчера Аня: какую сказала шутку, с какой настойчивостью разгадывала трудный кроссворд, ну и так далее...

Кстати: я с мамой и Фёдором совершенно согласна: Аня Сергеева – отличная девчонка. Я тоже так считаю. И сознаю, что я Ане не то, что в подружки, но даже в подмётки не гожусь.

Аня и Анечка

Аня и Анечка всегда вместе. Я здесь, вообще-то, третья лишняя. Две Ани составляют нечто нераздельное целое.

Они совпадают всеми своими противоположностями: Аня умеет интересно рассказывать, Анечка – слушать, Аня – генерить идеи, Анечка – подхватывать идею на лету, Аня – смешить, Анечка – ценить шутку. И так – во всём, до бесконечности. Наверное, если бы судьба забросила их на необитаемый остров, им бы не было скучно вдвоём.

(Забегая вперёд, надо с удивлением и восхищением признать, что и через двадцать, и тридцать, и через сорок лет всё это останется в силе. И сейчас их окна по-прежнему смотрят друг на друга, и сейчас Аня и Анечка так же, как в детстве, непохожи друг на друга, и при этом они по-прежнему дружат).

Мы, четыре девочки, (ещё микроскопическая Лариса) вроде как одна компания. Вместе ходим в школу. Правда, не всегда, потому что я часто опаздываю и бегу обычно следом.

«Вон обе Ани и Лариса уже в школу пошли, – говорит бабушка, глядя в окошко. – А ты своё несчастное яйцо никак доесть не можешь!»

Из-за этого «несчастливого яйца», которое не лезет мне в горло, или из-за «несчастной каши» я привыкаю ходить в школу одна. Бабушка отпускает меня из-за стола, когда я уже явно опаздываю, и поэтому приходится не идти, а бежать. Бежать, догоняя подружек. Или не догоняя...

Повесть об отце

Неожиданно для самой себя, я решила написать повесть об отце. О своём любимом папе Серёже...

Сама теперь удивляюсь: как мне, десятилетней отроковице, могло такое прийти в голову? Ведь до этого я никаким сочинительством не занималась. Но помню оглушительную радость, когда эта мысль озарила меня:

Я МОГУ НАПИСАТЬ КНИГУ – И ЭТО БУДЕТ МОЯ НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ! И В ЭТОЙ НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ У МЕНЯ ВСЁ СБУДЕТСЯ, О ЧЁМ Я МЕЧТАЮ! В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВСЁ БУДЕТ ПРАВИЛЬНО, ВСЁ БУДЕТ ТАК, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ!

Это было всё именно так внутри меня: такими огромными буквами!!! Со множеством восклицательных знаков!!! Даже не буквами – а звёздами!.. Какой-то добрый ангел мне это нашептал, открыл дверь в Мир Удивительных Возможностей...

* * *

И вот, я пишу свою первую повесть. В ней только два действующих лица: отец и я. Мне не нравится моё реальное имя, оно холодное, хоть и красивое. Поэтому в повести я называю себя Мартой – мне так уютнее, теплее.

Март – мой любимый месяц в году, в марте цветут синие подснежники. Однажды бабушка сказала, что у меня глаза синие, как подснежники. (И я знаю, что такие же глаза у моего отца...) Тогда я и придумала для себя внутреннее – тайное ото всех – имя, чтобы в нём отогреваться: Марта.

...Я пишу повесть по ночам, под одеялом, при свете фонарика... Другой возможности у меня нет. Я не могу это делать днём, за своим письменным столом, потому что вокруг постоянно кто-то ходит: то бабушка заглянет через плечо: «Ты уроки делаешь? Или чем тут занимаешься?» То Маришка прискачет: «Давай поиграем!» А в школе на уроке, или на перемене, и подавно невозможно писать повесть: тут уж все заглядывают через плечо! Ещё чего доброго учительница отберёт и зачитает вслух – это было бы ужасно!

Весь день я жду ночи, жду той минуты, когда услышу бабушкино спящее дыхание, заберусь с головой под одеяло, вытащу из-под подушки тетрадь, карандаш и фонарик... И никто, НИКТО В ЦЕЛОМ МИРЕ об этом не знает!

И когда днём я общаюсь с подружками, или с бабушкой, мне смешно и удивительно, что НИКТО из них не знает и даже не подозревает о моей ТАЙНОЙ ЖИЗНИ.

Весь день проходит в мечтах об этой тетрадке. Слушаю объяснение учительницы – и ничего не слышу, потому что в голове у меня вызревает новая глава моей повести... И мне так сладко при мысли, что вот настанет ночь, и я заберусь под одеяло, и запишу это в свою тетрадку – и это навсегда станет МОЕЙ НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНЬЮ, которую у меня никто не отнимет...

А сюжет моей повести предельно прост: мы с отцом живём вдвоём, он ходит на работу, а я в школу не хожу, школы в повести нет. Я уже не школьница, но ещё не взрослая. Целый день я живу в ожидании отца: навожу уют в доме, хожу в магазин, готовлю еду, читаю. Он приходит, я кормлю его ужином, мы разговариваем обо всём на свете, смеёмся, он говорит мне хорошие, ласковые слова, смотрит на меня своими чудесными сине-голубыми глазами... И никто, никто нам больше не нужен!

Главным в повести было именно наше общение с отцом, наши разговоры, шутки, смех... То, чего мне позарез не хватало в реальной жизни.

* * *

Так я и писала её, свою повесть, живя двумя жизнями. И та жизнь, которая была в повести, казалась мне более настоящей, чем жизнь реальная.

Повесть я хранила в своём школьном портфеле, зная, что никто в него не полезет. Тетради мои никто никогда не проверял – это было в нашей семье не принято. Я училась всегда хорошо. Зачем проверять?

Сбор металлолома

В школе объявлен сбор металлолома. Не просто сбор – а соревнование: какой класс соберёт больше? Учительница сказала, что собранный школьниками металлолом пойдёт в переплавку, а потом из него сделают красивые велосипеды. А если много соберём – то, может, хватит даже на паровоз! Нас это просто окрылило.

Ходили всем классом в степь, в сторону строящегося комбината на поиски железок. Нарыли какую-то проволоку, прутья, тащим всё это на школьный двор. Но это такая мелочёвка, с ней не победишь в соревновании.

По дороге наткнулись на чугунную крышку от канализационного колодца – тяжеленная!.. Всеобщее ликование! Вот то, что нам нужно для победы. Я и ещё какой-то мальчуган (все мальчишки в нашем классе удивительно маленькие, как дошколята, и похожи друг на друга, я ещё не запомнила их имена), мы вдвоём на пару взялись дотащить эту крышку до школьного двора. Тащим, тащим... Ну, и тяжесть! Но всё же дотащили.

Правда, нам потом сказали, что крышка от колодца – это вовсе не лом, а полезная вещь. Не помню уж, победили мы в том соревновании или нет...

Тайные походы в подвал

Прихожу из школы, совершенно обессиленная. Беру свечку, спички и иду в подвал. Так я делаю каждый день. Спускаюсь по лестнице в сыроватую тьму...

Иногда зажигаю свечу, но чаще иду просто на ощупь, потому что со свечкой страшнее: блики и тени на стенах... Иду по совершенно чёрному коридору, вокруг мрак и шуршанье – то ли крыс, то ли моих нервов... Жуть!

На ощупь открываю двери нашего сарая, который в самом конце этого коридора, да не просто в конце, а ещё и в закоулке, там уж совершенно тьма «вырви глаз». С трудом справляюсь с тяжёлым висячим замком, главное – не забыть, куда его положила во тьме, чтобы потом найти.

Открываю скрипучую дверь... Меня окатывает волной укропного запаха!.. Нашупываю в пахучем мраке большую бочку, снимаю тяжёлый камень – он называется «гнёт», снимаю деревяшку, похожую на половинку луны, кладу её на вторую половинку, отворачиваю тряпочку, пропитанную рассолом, руки дрожат от слабости и нетерпения...

Сажу на перевернутом ведре и поедаю помидоры, один за другим. Они ещё не сильно солёные, как будут зимой, но уже чуть-чуть, крепкие и сочные, скулы сводит от наслаждения... В этих плодах заключена какая-то неведомая для меня сила, я засасываю её, пью, как задыхающийся пьёт кислород из кислородной подушки... Ну вот, полегчало... Можно жить дальше.

Аккуратно закрываю бочку, запираю сарай и – отправляюсь в обратный путь по чёрному коридору... Но обратно – уже не так страшно, ведь я иду к выходу, к свету, и у меня уже есть силы.

* * *

Поедание помидоров происходит каждый день, и – в тайне от домашних. Впрочем, мама до вечера на работе, бабушка то здесь, с нами, то уезжает в Днепропетровск, к себе домой – на Философскую улицу, где и я жила до пяти лет.

У бабушки в Днепре (так взрослые сокращённо называют Днепропетровск) всякие важные дела: она оформляет пенсию и делает себе зубы. Но даже когда она здесь, я боюсь сказать ей о том, что со мной происходит что-то неладное. Я бы и не смогла объяснить, что именно, просто какая-то жуткая слабость, еле волочу ноги...

Если признаюсь, что мне не может, бабушка тут же скажет маме, и они обе будут ругать меня, что я опять заболела, что я заболела оттого, что плохо ем, и бабушка будет плакать и говорить страшные слова про «рецидив». Я не люблю, когда они вспоминают, как я болела в детстве туберкулёзом, и что доктор сказал, что возможен рецидив.

Болезнь жёлтого цвета

Стояла осень шестидесятого года, сухая, тёплая, всё постепенно желтело – травы в степи, листочки на посаженных деревьях, и я тоже...

Когда утром, расчёсываясь и заплетая косы, я смотрела на себя в зеркало, мне было неприятно: жёлтое, как лимон, длинноносое лицо с синими тенями под глазами. Бр-р-р!.. Ну, и уродина. Бабушка называет меня в шутку Буратино.

В кого ж я такая уродилась?.. Мама – красавица, золотистые волосы, зелёные глаза. Белые зубы, когда смеётся, сверкают, как у Любви Орловой из кинофильма «Цирк», но сама Орлова и в сравнение не идёт с моей мамой. Маме надо быть не инженером, а артисткой, она бы всех затмила!

И папа Серёжа красивый – как сказочный принц: синие глаза, каштановые волосы над светлым лбом, белый полотняный костюм... я помню... помню, какой красивый мой папа...

Федор, в общем-то, тоже симпатичный: высокий, широкоплечий, стремительный. Голубоглазая, белокурая Маришка – самая очаровательная девочка на свете. Она похожа на своего отца – на Фёдора. Да и бабушка у нас интересная женщина.

И только я... по пословице: в семье не без урода.

* * *

В школе. Учительница спрашивает меня с тревогой:

– Лена, почему ты такая жёлтая?

Я пожимаю плечами: откуда мне знать, почему я жёлтая?

– А мама разве не замечает, что ты жёлтая? – недоумевает учительница.

Я пожимаю плечами: нет, не замечает.

– Странно, – говорит учительница. – Очень странно...

* * *

...Вечер. Маришка уже спит. Фёдор на работе. Бабушка в Днепре. Няня, которая приходит к Маришке, когда бабушка в Днепре, уже ушла к себе на хутор. Мы с мамой стираем на кухне бельё. Я, как всегда, кручу валики стиральной машины, отжимая простыни и пододеяльники. Мне нравится это занятие, я ни с кем не хочу его делить. Но почему-то сегодня мне тяжело, ноги ватные, перед глазами плавают красные круги...

Потом мама закладывает в машину новую порцию белья, и пока оно вертится в центрифуге, я ухожу в комнату и сажусь на кровать передохнуть.

Здесь, в комнате, потише и прохладнее. Я сижу, смотрю на свои руки, которые лежат на коленях и дрожат. Я пытаюсь унять дрожь – и не могу... Руки как будто чужие, они не слушаются меня. Страшная усталость во всём теле. Тупо, как-то отстранённо смотрю на свои руки и спокойно, равнодушно думаю: «Вот так люди и умирают...»

* * *

...Очнулась от сильной тряски. Открываю глаза и ничего не могу понять. Ночь, я лежу на заднем сидении машины, машина несётся, как сумасшедшая... «Где я?» – «Лена, ты сильно заболела, – слышу мамин голос, – мы везём тебя в Днепропетровск». Она сидит в углу сидения, у неё на руках спит Маришка. На переднем сидении – рядом с шофёром – Фёдор, а машина – это его служебный «козлик», она очень быстро едет и очень сильно прыгает, эти прыжки (так вот почему её прозвали козликом!) больно отдаются во всём теле.

Я с трудом принимаю сидячее положение и смотрю на дорогу, которая озарена красными и жёлтыми огнями, а вокруг – черно, черно, степь... И в небе черно, черно... Только эти живые светлячки на шоссе... красиво!.. Мы обгоняем одну машину, другую... Я давно не ездила на машине... Давно это было, в Оренбурге... мне пять лет... мы с бабушкой выходим из поезда, и нас встречают мама и папа Серёжа... и мы едем до нашего дома на такси... И был

май, и непролазная грязь... и мама вынесла бабушке из дома резиновые сапоги, а меня отец от такси до дома нёс на руках... первый раз в жизни...

Как зачарованная, смотрю на мелькание жёлтых и красных светлячков, жёлтых и красных, красных, красных, красных... и опять теряю сознание...

* * *

Днепропетровск, Philosophical street, дом моего детства. Перепуганная бабушка. Уже утро. Я не помню, как мы доехали, и что было вечером, точнее – ночью. Я то ли спала, то ли была в беспамятстве.

Вызванный утром на дом районный врач, помнящая меня ещё с пелёнок, поставила диагноз: «Желтуха, тяжёлая форма». И выписала направление в больницу.

Но мама не хотела отдавать меня в больницу, ведь это означало, что меня нужно оставить в Днепропетровске одну, и неизвестно на сколько времени. До Вольногорска – три часа электричкой, среди недели ребёнка не навестишь, только в выходной. На это мама пойти никак не могла.

И вот, в ожидании «скорой», мама спрятала меня в шифоньере, между одеждой. А врачам, когда приехала «скорая», мама сказала, что меня уже увезла другая «скорая». Врачи очень сильно удивились.

«А Ена в цифаене! А Ена в цифаене!» – весело тараторила Маришка, хлопая в ладоши. «Что ребёнок такое говорит?» – настороженно прислушалась врач «скорой». «Так, болтает что-то своё», – сказала мама.

А я внутри шифоньера давилась от смеха...

Врачи, наконец, ушли. Да и где возьмёшь больную, если её в семиметровой комнате нет?..

А мы в тот же день вернулись домой, в Вольногорск. Опять на «козлике» Фёдора.

* * *

Меня поселили одну в большой комнате. Отгородив кровать ширмой, сделанной из двух широких простыней. Не знаю, что сказала местному доктору моя мама о моём диагнозе, и как доктор решила меня лечить от столь тяжёлой болезни в домашних условиях. Но о больнице речи больше не шло.

Впереди было два месяца лежания в этом углу...

Жизнь за ширмой

Лежу за ширмой. Говорят, что я заразная и ко мне нельзя. Медсестра, которая приходит каждый день колоть меня, в марлевой повязке. Маме и бабушке тоже велено носить повязки.

И только маленькая Маришка забегает ко мне без повязки. «Мариша, не ходи к Лене, заболеешь!» Но Маришка всё равно заглядывает ко мне за ширму, как лучистое солнышко...

Маришка – не заболела. И все очень дивились этому. Но я-то знала, что не заражу её. Каким-то внутренним чувством знала. Потому что есть на свете такая великая охранительная сила – ЛЮБОВЬ. В десять лет я ещё не могла этого объяснить словами, но сердцем чувствовала: я не могу заразить Маришку, которую так сильно люблю.

А может, моя желтуха и не была инфекционной? Иначе я бы уже давно заразила весь класс, ведь я много дней ходила в школу жёлтая. Вообще, эта болезнь жёлтого цвета была очень загадочная...

* * *

Чем я развлекалась там, за ширмой? Ну, первое время мне было не до развлечений, хотелось только одного – спать.

А потом, когда в голове немного посветлело, принялась перечитывать свои любимые книги: сказки Андерсена, «Голубую стрелу» Джанни Родари, «Нелло и Патраш» Уайды, «Артёмку», «Тайну трёх океанов» и двухтомник обожаемого Аркадия Гайдара – особенно тёплую, уютную повесть «Чук и Гек».

С четырёх лет, как бабушка научила меня читать, это стало моим любимым занятием. Любимые книги могла перечитывать по многу раз, и каждый раз было всё также интересно.

Обожала андерсеновскую «Русалочку». Мне казалось, что мы с Русалочкой похожи: так же, как она, я порой хотела что-нибудь сказать – и не могла... Обожала «Приключения Буратино» – потому что очень любила цирк и не отказалась бы, чтобы в нашей комнате за каким-нибудь старым холстом оказалась чудесная дверца в мечту... Но не было на наших стенах холстов! Стены были белые и пустые. И ширма белая-белая... И лишь прикрыв глаза, можно было нарисовать сказочный холст в своём воображении. Холст с очагом...

Откровенно говоря, не очень-то весело было лежать одной в огромной пустой комнате – это было похоже на лазарет.

С грустью вспоминала комнатку на Философской, где мне так уютно и тепло жилось в моём раннем детстве...

Воспоминания о жизни на Философской

Прошлой осенью судьба подарила мне ещё полгода жизни на моей любимой Философской улице. Чудесные полгода. Вдвоём с бабушкой.

Маленькая комнатка, до краёв наполненная теплом и детскими воспоминаниями... Мне нравилось, что здесь ничего не меняется. Та же старая широкая кровать, тот же пёстренький коврик на стене, тот же старый скрипучий шкаф, в котором живут запахи крахмальных простыней и тёплых старых одежд, и чёрная шёлковая сумочка со старинными открытками, и на одной из них – ангел, который уронил с неба незабудку. На открытке – стишок: «Незабудку голубую ангел с неба уронил». Я обожаю этого ангела с раннего детства...

И всё тот же старый стол у окна, покрытый синей трофейной скатертью, привезённой бабушкой из Германии. За этой скатертью я пряталась, маленькая, сидя под столом на перекладине. Мне всегда нравились уютные уголки – как бы норки.

А на столе, как и прежде, стоит бабушкина швейная машинка, знакомая и родная до последнего завиточка в красно-золотом орнаменте.

А за окном, как всегда, постанывают нежные горлицы...

* * *

Когда мы живём с бабушкой вдвоём, – это совсем, совсем другая жизнь, чем когда мы живём всей семьёй. Когда мы живём вдвоём, бабушка никогда не ругается. Когда мы вдвоём – между нами такая огромная нежность, огромная, как облако, и это нежное тёплое облако как будто накрывает нас – и мы живём внутри него... Как будто мы с бабушкой маленькие-маленькие и живём внутри огромного пушистого одуванчика... Как в сказке.

Всё, что делает бабушка – печёт ли оладушки, строчит ли на машинке, приносит ли с мороза твёрдое искристое бельё, – всё для меня оборачивается праздником, сладким воспоминанием детства... Я очень люблю повторения. Повторения того, что люблю. Из этих повторений выпевается удивительная мелодия жизни, такая нежная и волнующая...

Конечно, новизна мне тоже нравится. Мне очень интересно было пожить в Оренбурге. Это была удивительная жизнь! Полная приключений, радости и горя. Но радости всё же было больше. И отец там у меня был, хоть и недолго, всего полгода, но ведь БЫЛ! И дружба там у меня была с Мишкой Бочкарёвым. Я Оренбург никогда не забуду...

Но когда мы вернулись с бабушкой в Днепропетровск, я поняла, что люблю дом на Философской больше всего на свете.

Небольшой, на четыре квартиры, старый, двухэтажный дом, как во многих южных городах – с деревянной верандой вдоль всего второго этажа и скрипучей деревянной лестницей на второй этаж. Этому дому уже больше ста лет...

Во времена моего детства каждая из квартир была заселена до такой степени, что дом и двор походили на муравейник...

* * *

Бабушка любит вспоминать, как она получила эту комнатку на Философской. Она говорит:

– Чудом! Собственно, тогда произошло сразу два чуда. И всё – благодаря одному человеку. Всё же есть добрые люди на свете...

Я уже не в первый раз слушаю эту удивительную историю, но мне по-прежнему интересно.

(Жаль, не могу вспомнить имя человека, которого с такой благодарностью вспоминала моя бабушка).

...Когда бабушка вернулась после войны из Германии, она ничего не знала о своих дочерях – Лидии и Марии. Она даже не знала, живы ли они. В Новомосковске, где их семья жила

до войны, и где их застала немецкая оккупация, никто ничего сказать бабушке о её дочках не мог. И домика, в котором они жили до войны, не существовало.

– Вернулась, а тут ни кола, ни двора... И где кого искать, не представляю даже.

И тогда она поехала в Днепропетровск и пошла в обком партии. Хотя бабушка никогда не была членом партии, но она просто не знала: к кому ещё обратиться, чтобы что-то узнать?

К первому секретарю она не решилась пойти, пошла к его заместителю.

– И такой добрый человек оказался, – говорит бабашка. – Никогда не забуду его глаза... Такие внимательные, уставшие и грустные очень. Видно, что и сам пережил многое. Всё я ему рассказала: про подполье, про гестапо, про лагеря... И про то, что дочерей не могу найти, и про то, что крыши над головой не имею. И что ты думаешь? Он нашёл и Лилю, и Мусю! Лиля училась в строительном техникуме, здесь, в Днепропетровске – это был единственный техникум, который после войны открылся. Она туда и поступила. Она ж не могла в институт идти, ей война помешала школу окончить. Училась, разгружала на вокзале вагоны, чтобы что-то зарабатывать, а платили им натурой – давали за работу банку каких-нибудь консервов. Так и питалась. И снимали они с подружкой угол у какой-то бабушки. Спали валетом на одной узкой кровати... И Муся тоже здесь, в Днепре, училась. Но это ж сколько ему надо было обзвонить разных мест, чтобы найти их! Большая удача, что обе оказались после войны в Днепре. И так мы все нашли друг друга. И это я считаю – настоящее чудо. Потому что многие во время войны потеряли друг дружку и уже не нашли... Конечно, наша встреча с Лилей была драматическая. Я ведь была в списках расстрелянных, и Лиля думала, что я погибла. А тут её вызывают с урока и говорят: «Твоя мама вернулась». А Лиля говорит: «У меня нет мамы, она погибла». А ей говорят: «Она не погибла, она была в Германии и вернулась. Вот твоя мама». Я подхожу к ней... а Лиля как закричит: «Это не моя мама!!» Не узнала меня. Да и как меня было узнать? Вернулась без волос, без зубов... На вид – древняя старуха, хотя мне и сорока пяти ещё не было. Ну, постепенно, она ко мне привыкала...

А с комнатой этой – да, ещё одно чудо. Этот же добрый человек говорит мне: идите по такому-то адресу, там пустует одна комната. Вот вам записка в жилищную контору. Там получите ключ. И живите в этой комнате. Вот так мы тут и поселились, так и живём здесь уже пятнадцать лет. Маленькая, конечно, комнатка, но как же я её люблю! Не в квадратных метрах счастье. Лишь бы не было войны...

Бабушка часто повторяет эту фразу, как молитву: «Лишь бы не было войны». Она считает, что всё можно перетерпеть, и на многое закрыть глаза, на многие бытовые вещи, – лишь бы не было войны.

* * *

А ещё бабушка часто вспоминает, как я сильно заболела, едва только появившись на свет. Она любит вспоминать, как всё было страшно, и как я была спасена.

– Это ж в каких условиях мы тогда жили! Крыша дырявая, как решето, вся пробита осколками, с войны не было ремонта. А в доме жара, лето, сквозняки... Ну, тебя и продуло. Кричала страшно... Сильнейшее воспаление среднего уха, а тебе ещё нет месяца. Врачи говорят: опасно для жизни, воспаление может перекинуться на мозг. Надо срочно класть в больницу, но – без матери. Ну, мы с Лилей поняли это так, что если отдадим тебя в больницу, то больше не увидим... И мы договорились с врачами, что будем тебя носить в больницу на уклады. Каждые два часа. Даже ночью. Слава Богу, больница не очень далеко. Но по ночам, честно тебе скажу, страшно было ходить. Фонари не горят, глухая тьма, а район у нас тут вокруг Озёрки очень беспокойный – много шпаны... Ну, мы с Лилей прижмёмся друг к дружке, она меня ведёт под руку по этим разбитым тротуарам, чтобы я не споткнулась, не упала, не выронила бы тебя, не дай Бог, ведь не видно ни зги, а я тебя прижимаю к себе крепко-крепко... И вот что интересно – ты никогда не спала, когда мы ночью шли на укол, и никогда не плакала. Как-то так разумно себя вела. Да... Так и ходили, как заведённые...

Бабушка рассказывает так зримо, что мне кажется, будто я тоже помню эти наши ночные походы в больницу, помню тёплую тьму, помню её нежное касание моих щёк, помню, как мне спокойно и совсем не страшно на руках у бабушки, а рядом – мама, ведёт нас в этом ласковом, нежном мраке южной ночи...

* * *

– Ты как родилась, так с тобой сразу стали всякие истории приключаться, – говорит со вздохом бабушка. – То воспаление уха, то этот гвоздь в половице! Уж сколько раз я его забивала, а он опять вылезал, проклятый, своей толстой шляпкой! И надо ж тебе было свалиться с кровати и упасть на этот гвоздь прямо лбом! Натуральная дырка во лбу образовалась. Ужас!.. Я думала: Лиля меня не простит, что недосмотрела тебя... Но мы даже к врачу тебя не носили. Дырку ведь во лбу не зашьёшь. Постепенно сама зажила...

– Бабушка, а ведь я помню, как я с кровати тогда летела...

– Неужто? Тебе девять месяцев всего было.

– Вот это точно помню! Это – моё самое первое воспоминание. Моё собственное. И как на гвоздь налетела – помню!

– Да, крику было на весь дом... Ты от рождения такая голосистая была!

Мы смеёмся.

* * *

– Бабушка, а помнишь куриные сердечки? Как ты меня ими кормила...

– Как не помнить? Это ещё одна история – твой туберкулёз. Мало того, что мой Яша от туберкулёза погиб, вдруг это обнаружили у тебя. А тебе – всего три года! Ну, оно и не удивительно: в таких условиях мы жили – дождь лил с потолка сквозь дырявую крышу... У тебя простуды бесконечные. И питание малокалорийное. Вот вам и туберкулёз! А потом, когда ты из санатория вернулась, врачи велели тебя кормить как можно лучше. А как, когда денег нет? Мои заработки были не очень большие, сколько заработаешь этим шитьём? Хотя работала день и ночь. Но мои клиентки были не богатые, и не могла я с них много просить. А Лиля тогда не работала – училась в строительном институте, на дневном отделении. Мы с ней приняли такое решение: чтобы она училась на дневном.

Тебя белковой пищей надо было кормить. И куриные сердечки – это было самое дешёвое, что можно было купить. Каждый день скармливала тебе по сердечку...

Никогда не забуду те куриные сердечки! Я была уверена, что эти сердечки живут теперь во мне, наравне с моим собственным сердцем. И я была счастлива, что теперь у меня не одно сердце – а много сердец. И я смогу МНОГО ЛЮБИТЬ! Это было таким счастьем...

Я уже много кого любила: бабушку и маму, далёкого отца, которого мы очень ждали из какого-то дальнего края (отец был репрессирован и сидел в лагере, но этих слов при мне взрослые не произносили). Ещё я любила совершенно седую и всегда печальную тётю Сару из нашего дома, у которой единственный сын погиб на войне, любила еврейских детей, которых в Освенциме вели в газовую камеру, бабушка рассказывала о них и плакала... Я очень жалела и очень любила этих детей. Но я хотела любить ещё больше!

* * *

А ещё мне нравилось слушать бабушкины рассказы про её детство! Это – лучше всяких сказок.

О, моя бабушка – потрясающая рассказчица!.. Она так рассказывает, что я как будто переселяюсь внутрь её рассказа и живу там вместе с ней: толку вместе с ней пшено для блинов в большой деревянной ступе тяжёлым пестиком. Или стою у ткацкого станка и смотрю, как работает мой прадед Лаврентий – замечательный, искусный ткач... Или с бабушкой, которой всего семь лет, нянчу её маленького племянника. А он всё плачет, и я тычу ему в рот тряпочку с ржаным хлебушком, потому что сосок тогда ещё не придумали, и, чтобы утихомирить мла-

денца, брали ржаной мякиш, или маковые зёрнышки, заворачивали в тряпочку и совали младенцу в рот. Он пососёт-пососёт эту соску-самоделку – и уснёт...

И так мне нравится слушать про эту стародавнюю жизнь!

* * *

Какое счастье было опять пожить с бабушкой прошлой осенью на Философской улице... Пожить в этом родном, обжитом мире, и, просыпаясь утром, вдыхать запах печки, которую бабушка растапливает чёрным, мерцающим углем...

А потом умываться из старого железного умывальника со смешным висячим, звякающим носиком. В холодном коридоре. Засунув босые ноги в валенки, и накинув на плечи пальто. В нашем старом доме нет водопровода и вообще никаких удобств, но зато здесь живёт Счастье!

А потом выйти на старую деревянную веранду, где блестит на полу под первым снежком новая жестяная заплата, она такая длинная, эта заплата, что на ней можно прокатиться, как по ледяной дорожке...

На этой веранде когда-то произошло очень памятное событие в моей жизни. И каждый раз, подходя к перилам веранды, я вспоминаю об этом. И как бы переживаю его заново...

* * *

...Мне года четыре, лето... Солнце клонится к закату и очень красиво пронизывает листья клёна, который растёт в палисаднике у дома. Молодая густая крона сияет прямо на уровне моего лица, моих глаз... Никого во дворе, никого на веранде. Хотя обычно это – человеческий муравейник. А сейчас – ни души. Ни голоса, ни звука. Я одна в целом мире. Мир наполнен мягким теплом, тишиной, покоем, нежностью... Я стою у перил веранды. Каждый кленовый лист сияет, как солнце!..

И в ту секунду я вдруг поняла, почувствовала каждой своей клеточкой, что СМЕРТИ НЕТ. Я ощутила в себе свою Хоть и не знала ещё этих слов, но почувствовала, что внутри у меня есть что-то большое, что больше меня, и это ЧТО-ТО никогда не умрёт... *бессмертную душу*.

Это было так остро и так ликующе радостно!..

(Тот день и это удивительное переживание не забылось потом в течение всей жизни).

Помню, что в детстве все вокруг часто говорили о смерти. Война была ещё близко. К бабушке приходили заказчицы, приходили её лагерные подруги, и они начинали вспоминать оккупацию, подполье, погибших родных, концлагеря... У них это ещё не отболело. (И не отболит никогда).

Я, маленькая, всегда была тут, в нашей семиметровой комнате, а бабушке и в голову не могло прийти, что я многое понимаю и всё впитываю, пропитываюсь этим ужасом...

А про бессмертную душу никто ничего не говорил. Об этом мне было сказано вот здесь, на старой деревянной веранде, летом 1954 года. Кем сказано?.. Придёт время – и я узнаю Его имя.

С того дня мне уже не так страшно жить. С того дня это моё ощущение, моё новое знание как-то уравновесило то страшное, что лежало на другой чаше весов...

* * *

А деревянная лестница поскрипывает, точно здороваётся со мной, и хочет о чём-то рассказать. У каждой ступеньки – свой голос, своя интонация...

И носится по двору, радуясь снежку, чёрная лохматая собачонка Жанка. Я не знаю, сколько ей лет, она всегда жила в этом дворе, ещё до моего рождения...

Как волшебным, что есть на свете Дом Моего Детства. Куда можно хотя бы изредка вернуться и пожить здесь хотя бы недолго. С бабушкой.

Длинные дни в пустой комнате

За свои десять лет я уже пять раз переезжала. И четыре раза меняла школу. Такая вот непростая жизнь, если родители у тебя – строители. Только привыкнешь, сдружишься – и опять в дорогу, опять начинай всё сначала... Конечно, в этом что-то есть: ездить в поездах мне очень нравилось, открывать новые города тоже нравилось, но, с другой стороны, грустно...

Вот, заболей я так надолго на Философской, мне бы пели свою песенку горлицы за окном и старая бабушкина швейная машинка... Заболей я в Оренбурге, ко мне бы прибежал мой сосед и друг Мишка Бочкарёв...

Перечитываю «Голубую стрелу», эта история мне шепчет о том, что на свете существует Прекрасная Справедливость. Которая не от людей, а от каких-то других – высших сил. А мечта может прийти совсем не в том обличье, в каком ты её ждёшь, и очень важно признать её, порадоваться и принять...

Так и проходили мои длинные дни в пустой комнате за белой ширмой – в чтении, воспоминаниях и мечтаниях. Там, за ширмой, во время желтухи, я обнаружила, что мне никогда не бывает скучно. Грустно – да, бывает, и даже часто, а скучно – нет. Было хорошо лежать и не шевелиться. Просто лежать и думать о чём-то своём... Моя недлинная ещё жизнь много раз прокрутилась за это время в моей памяти, как кино.

Вспоминала Оренбург, Мишку Бочкарёва – моего соседа по лестничной клетке и по парте, вспоминала нашу дружбу, – такой у меня, наверное, уже никогда больше не будет...

Вспоминала отца, его сказочные сине-голубые глаза, и нашу недолгую жизнь вместе – там же, в Оренбурге, когда мне было пять лет... Вспоминала нашу встречу позапрошлой зимой, когда он неожиданно приехал навестить меня, мы жили ещё в Оренбурге, хотя уже на другой улице, но он нашёл меня. А он жил теперь в Одессе. Вспоминала наше короткое общение и прощание. Неужели я больше никогда не увижу его?..

Знает ли отец, что мы опять переехали? Почему я не спросила у него его одесский адрес? Не догадалась, и в голову это не пришло тогда. Почему он сам мне его не дал? Почему он не сказал, что будет писать мне? А может, он пишет, а от меня скрывают его письма? После одной истории я не верю взрослым, и мне от этого очень тяжело. Я не думала, что взрослые умеют лгать. Оказывается – умеют. Я в этом уже, к сожалению, убедилась. Отец меня спросил тогда, получила ли я к первому сентября от него посылку? Я сказала: нет. Отец удивился. Я спросила: а что в ней было? Отец сказал. И тут уже удивилась я. «Эту посылку мне прислал не ты, а тётя Муся», – сказала я. И тут мы оба всё поняли...

И вот я думаю теперь: может, он мне пишет?.. А может, наоборот. Зачем писать, зачем слать посылки, если всё равно... всё равно мне об этом не скажут. Скажут опять, что от тётки Муси, или от тётки Фроси. Как это грустно, что невозможно узнать правду: как же оно на самом деле?..

Всё в мире относительно

Странно, но я почти не боялась уколов, особенно в первые недели. Заметила: когда болеешь тяжело, то как бы отстраняешься от своего тела, оно становится каким-то чужим, отдельным от тебя, и ты позволяешь делать с ним, что угодно, и на боль реагируешь как-то тупо, совсем не так, как в здоровом состоянии. В здоровом состоянии сдать анализ крови из пальца – мука мученическая. Говорят, у меня очень высокий порог чувствительности. А тут... то ли притерпелась, то ли и в самом деле отупела.

Доктору, который изредка навещает меня, не нравится, что я по-прежнему жёлтая-прежёлтая... Желтизна будто навсегда въелась в мою кожу. Когда я гляжу на себя в маленькое круглое зеркальце, мне кажется, что на меня смотрит китаец, то есть – китайка. Я оттягиваю пальцами внешние уголки глаз к вискам, глаза становятся узкими щёлочками – ну, точно китайка! Наверное, в Китае я была бы красавицей, думаю я, и от этой мысли мне становится весело, и я, может быть, впервые догадываюсь о том, что всё в мире относительно: здесь, у себя дома, я по всем параметрам – уродка, а где-то далеко была бы красавицей...

В дальнейшем я очень полюбила эту мысль – об относительности всего на свете. Эта мысль была для меня утешительной в самые грустные минуты жизни: «Всё в мире относительно!» – напоминала я себе, и мне становилось гораздо веселее.

Как я молчала на уроке

А ещё я вспоминала про то, как однажды молчала на уроке. Мне не очень приятно это было вспоминать, тем более неприятно, что это случилось прошлой осенью, в Днепропетровске, когда мы жили с бабушкой вдвоём, и мне было так хорошо, так спокойно. И этот странный случай был единственной неприятностью.

Это был третий класс. Маленькая, уютная старая школа в два этажа – на углу Бобрового переулка и улицы Шмидта. Как раз напротив моего любимого цирка – куда я много раз ходила с мамой и бабушкой, когда была маленькая, мимо которого я не могу пройти без волнения, откуда по вечерам доносится волшебный марш Дунаевского, где сказочно пахнет свежими опилками и лошадьми... Цирк для меня – самое притягательное место на земле. И теперь окна моего класса смотрят на цирк!

И весь день звенят за окном красные трамваи... Трамваи я люблю так же, как поезда.

Старая учительница, с красивым пучком седых волос, с красивым тонким лицом – похожа на графиню из сказки. (А может, она и была графиней, но тогда это не принято было афишировать).

Учительница меня сразу полюбила. «А почему ж тебя не любить? – говорила бабушка. – Такая хорошая ты у меня девочка: умная, отличница, послушная».

Я даже почти перестала в то время заикаться. Правда, когда меня вызывали отвечать к доске, что-то внутри каждый раз ёкало, и там становилось неприятно-знобко... как будто ледяное озерцо растекалось в районе солнечного сплетения. Это был страх, уже хорошо знакомый. Как же это безумно трудно! Как будто каждый раз идёшь на битву с врагом. И не знаешь, победишь или нет.

До какого-то времени удавалось побеждать. Но однажды...

Это был урок русского языка. Учительница проверяла домашнее задание: нужно было рассказать какие-то ерундовые правила. Она ласково посмотрела на меня и сказала:

– Лена, к доске!

О, ненавистная фраза!.. Лучше написать сотню диктантов!

Выхожу. Знакомое ёканье под ложечкой и – холодное растекание внутри... Лицу в первый миг холодно, а потом нестерпимо жарко, жарко...

Стою, молчу.

– Ну, отвечай.

Стою, молчу.

– Почему ты молчишь? Ты учила урок?

Киваю: да, учила.

– Тогда отвечай.

Стою, молчу.

– В чём дело, Лена? Время идёт, отвечай!

Стою, молчу.

– Ты же не партизанка на допросе. Отвечай, если выучила урок!

Учительница, всегда такая спокойная, начинает раздражаться. Хотя она и старается не показывать виду, но я это чувствую. Моё молчание её бесит, и я чувствую, что она больше не любит меня.

– Ну, ладно, подождём, пока ты захочешь говорить, – говорит она.

Стою, молчу... И никакая сила не заставит меня открыть рот. Меня как будто накрыло стеклянным колпаком, отгородив ото всех. Забилась куда-то глубоко-глубоко внутрь себя, как улитка в раковину, и там – внутри себя – решила: ни за что не буду говорить. НИ ЗА ЧТО!

Мне даже не стыдно. И мне уже совершенно всё равно, что думают обо мне одноклассники, глядя на меня, закусившую почти до крови губу, замолчавшую как будто навек.

– Ну что ж, мы никуда не спешим, мы подождём! – говорит учительница, и её голос дрожит от еле сдерживаемого гнева.

Она решила меня переупрямить! Она думает, что я молчу от упрямства. Неужели она не понимает, что я просто НЕ МОГУ! НЕ МОГУ сегодня говорить! Почему? Не знаю... Это «НЕ МОГУ» как будто связало меня по рукам и ногам и забило рот кляпом.

Может, на меня так подействовало посещение логопеда? Накануне я ездила к нему на занятия – в интернат для детей с дефектами речи. Там работала воспитателем одна из бабушкиных лагерных подруг, она-то и посоветовала бабушке определить меня к логопеду, и обо всём договорилась.

Я ехала на окраину города, долго-долго, на своём любимом красном трамвае, как на поезде, одна, без бабушки. Сидела у окошка, радовалась: приятно всё же в девять лет быть такой самостоятельной! Доехала до конечной остановки, всё легко нашла: и интернат, и нужный кабинет.

На занятия пришли ещё несколько человек – сильно заикающиеся дети: они конвульсивно дёргались, подолгу пытаюсь выдать хотя бы одно слово... Видеть это было тяжело, слышать – невыносимо. Меня взяла оторопь и тоска, и ужас: неужели я тоже со стороны так выгляжу?! У меня всё страшно напряглось внутри, и я почувствовала такой сильный зажим, как будто меня всю, с потрохами, запихнули в испанский сапог... Бабушка мне читала недавно вслух какой-то роман, и там была такая пытка – железный сапог, который сжимался-сжимался на ноге человека... Это было ужасно больно, и человек не выдерживал...

«Я туда больше не поеду, – сказала я бабушке, вернувшись от логопеда. – Там очень страшно...»

Стою, молчу.

Молчит учительница. Молчит класс. Удивительно, что никто не хихикал и даже не шушукался. Все смотрели на меня, как замороженные...

Так я простояла у доски до конца урока в гробовой тишине. Самые жуткие полчаса в моей жизни. (На тот день). Лучше б графиня поставила мне двойку и отпустила на место! Нет, она решила выдержать характер. И она его выдержала.

– Без бабушки завтра в школу не приходи! – сказала она мне ледяным голосом, когда прозвенел звонок с урока.

Бабушка посетила школу и рассказала учительнице печальную историю про то, как я сильно испугалась, когда мне было пять лет, и что какое-то время я вообще не могла говорить, и все боялись, что я вообще не заговорю. К счастью, заговорила. Но с тех пор на меня периодически «находит», и я опять боюсь говорить...

Учительница вновь подобрела ко мне. Но больше она меня к доске не вызывала. Отныне все устные уроки я отвечала письменно.

* * *

Письменно отвечала устные уроки и в Луганске. Письменно отвечаю и здесь, в Вольногорске. Мама, как только записала меня в школу, сразу объяснила учительнице, что дочка у неё... Ну, я уж не знаю, что и как она ей объяснила, но к доске меня не вызывают. Моих одноклассников это удивляет; по-моему, они считают, что у меня «не все дома».

Конечно, это нелепо и стыдно, особенно когда отвечаешь письменно стихи, заданные наизусть, но что делать? Страх речи так велик, что пересиливает даже смущение и стыд. Перезнать ещё раз такое стояние перед классом?... – лучше умереть!

Но так как с умиранием дело затянулось, приходится отвечать уроки письменно. Конечно, я чувствую себя какой-то недоделанной, инвалидом. Конечно, я бы лучше вообще

не ходила в школу, а читала бы дома книжки. Но мысль взбунтоваться против школы никогда не приходила мне в голову: все дети ходят в школу. Иначе не бывает.

«Всё должно быть, как у людей», – любимая присказка моей бабушки.

Не как у людей

То, что со мной дела обстоят «не как у людей», видимо, очень травмировало моих домашних. Не меньше, чем меня.

При этом мне легко общаться с подружками. Например, с Анями. Никаких запинок в речи, ну разве что изредка, а главное – никакого страха. Я слышала, как бабушка говорила маме: «Слышала бы ты, как наша Ленка болтает с Анями! Без сучка, без задоринки!»

Конечно, с подружками говорить легко: ведь я могу обходить трудные для меня слова и трудные звуки. А не хочется говорить – можно и помолчать. Говорунов вокруг всегда много, – никто и не заметит, если я помолчу.

Но с домашними мне говорить трудно всегда. Я вижу, что мама и бабушка постоянно и напряжённо следят за тем, КАК я говорю. Такое впечатление, что им совершенно неважно, ЧТО я говорю! И это обидно. А от пристального внимания, от этой слежки за каждым моим звуком, у меня деревенеет язык.

* * *

Вольногорск совсем маленький городок, здесь нет логопеда, вся поликлиника умещается в одной квартире в доме по соседству. Один-единственный доктор на всех горожан и на все болезни. Здесь же, в шкафу в кабинете доктора, вся аптека – лекарство на весь город.

Но лекарства от страха речи в этом шкафчике нет. Доктор предлагает маме поить меня на ночь бромом. Но я уже целый год пила эту гадость и знаю, что она ни от чего не помогает. «Необычный ребёнок, слишком впечатлительный, хрупкая нервная система...» Я уже не могу слышать это в свой адрес!!!

Господи, как бы мне хотелось быть обычной, самой обычной, самой-самой-самой обычной девочкой! Чтобы никто не тыкал в меня пальцем, или глазами, и не хихикали бы за спиной. Может, никто и не хихикает?... Но всё равно я – изгой. Отщепенка. Я – НЕ ТАКАЯ, КАК ВСЕ. Это ужасно.

...Должно пройти много лет, должно произойти много событий, прежде чем я смогу понять: зачем и почему это всё со мной было. И увижу смысл, и даже смогу ощутить искреннюю благодарность – к Богу и к судьбе – за все страдания детства. Но в десять лет до чувства благодарности было ещё далеко...

О жизни в Луганске

А ещё я вспоминала Луганск. Жизнь в Луганске получилась какая-то жутковатая. Это была жизнь как будто в ПЕРЕВЁРНУТОМ МИРЕ. Особенно это чувствовалось по контрасту с жизнью на Философской улице.

В Луганск мы переехали сразу после Нового 1960 года. И здесь бабушку точно подменили. То ли на неё так плохо подействовал здешний климат, то ли это просто была ДРУГАЯ бабушка – бабушка из ПЕРЕВЁРНУТОГО МИРА. А моя бабушка, добрая и любящая, осталась в старом доме на Философской улице...

* * *

Определённо, мою бабушку подменили! В Луганске с нами жила какая-то подменная бабушка – близнец моей настоящей, внешне – как две капли воды, а внутри – совершенно другая.

...Никогда не забыть страшную сцену бабушкиного умирания. Как бабушка схватилась за сердце, рухнула на кровать и стала так жутко стонать, что я чуть не лишилась рассудка от страха.

– БАБУШКА, НЕ УМИРАЙ!!! – кричала я, почти обезумев от горя и ужаса: что вот сейчас, у меня на глазах, умрёт моя бабушка...

Телефона в доме не было, чтобы вызвать «скорую». Никого из соседей я не знала, чтобы позвать на помощь. Из угла на нас в страхе смотрела полугодовалая Маришка. А мне всего девять лет, что я могу? Только кричать и молить:

– НЕ УМИРАЙ!!!!!!

Я ей капала дрожащими руками валерьянку в рюмочку, клала на голову холодные компрессы, трясла её за плечи, рыдала, просила прощения за то, что я такая плохая девочка, так мучаю бабушку своей плохой едой, клялась, что доводить бабушку до такого состояния больше никогда в жизни не буду...

– ТОЛЬКО НЕ УМИРАЙ, БАБУШКА, ХОРОШАЯ, ЛЮБИМАЯ!!!

Бабушка ещё подёргалась в конвульсиях и затихла. Я похолодела...

А она открыла глаза и сказала:

– Приступ прошёл, можешь идти делать уроки.

Я уложила Маришку, и они обе сладко уснули.

А я пошла в другую комнату и села за свой письменный стол. Стол стоял неуютно – на самом проходе в проходной комнате, комната была большой, полупустой и холодной... Я сидела, тупо глядя в окно, чувствуя нестерпимую усталость и опустошённость. Да, я была счастлива, что бабушка осталась жива, но ужас пережитого и страшная усталость сковали меня, как панцирем.

* * *

А потом, вечером, я слышала, как бабушка рассказывала пришедшей с работы маме (дверь в комнату была закрыта, но голос у бабушки – не тихий, он проникал в мои уши и наполнял сердце нестерпимой болью). Бабушка докладывала маме о прошедшем дне:

– Ленка, как всегда, не ела, сидела над тарелкой не знаю сколько, довела меня до белого каления. И я решила её проучить.

– Как?

– Сделала вид, что у меня сердечный приступ, и я умираю. И ты знаешь, она так испугалась! Значит, совесть у неё всё-таки есть. Так просила меня: «Бабушка, не умирай! Бабушка, прости меня!» Капли накапала, компрессы на голове меняла. Ну, я не сразу, конечно, пришла в себя, поохала ещё, чтобы дать ей хорошенько прочувствовать, что может случиться с бабушкой, если ей так трепать нервы.

– Да, интересно ты придумала... – в задумчивости сказала мама.

– Советую, Лиля, и тебе прибегать к такому методу: очень хорошо действует.

Я вскочила, убежала в ванную и там, включив воду, долго плакала...

Тот день мне не забыть никогда. Мало того, что я РЕАЛЬНО пережила возможность и близость бабушкиной смерти, я пережила страшное открытие: что взрослые могут так претворяться, что взрослые могут так жестоко испытывать детей. Но и это не всё. Мамино молчаливое согласие с этим методом, и то, что она не возмутилась бабушкиным поведением и не заставила её повиниться передо мной, это я пережила как предательство.

И я поняла, что никогда больше не смогу им верить. Никогда. И мне стало жутко: что вот, они будут когда-нибудь умирать – а я буду думать, что они просто играют в умирание...

Увы, последующая жизнь убедила меня в том, что мама взяла-таки на вооружение бабушкин «хороший» метод.

Страшный случай в Луганске

А потом мы чуть не умерли на самом деле. Всей компанией! Всё в том же Луганске. Но это был не акт семейного суицида – острого желания расстаться с жизнью. Это была просто неопытность, оплошность.

Мы с мамой на кухне стирали, и я, как всегда, крутила валики стиральной машины. На газовой плите стояла выварка, такая здоровущая цинковая кастрюля, и в ней кипятилось – «вываривалось» бельё. Было страшно душно, неприятно пахло стиральной содой и хозяйственным мылом, всё это булькало в выварке, вместе с бельём... Тогда ещё не было стиральных порошков и отбеливателей, и был только такой способ отбеливания белья – долго «вываривать» его. Существовали специальные деревянные, огромные щипцы, которыми вылавливали из бурлящей воды бельё, от белья шёл горячий, душный, густой пар, по стёклам кухонного окна текли потные ручьи... У меня от духоты и сильных запахов всегда болит голова, а в этот раз она просто раскалывалась.

Вываренное бельё бросалось в стиральную машину и булькало, крутясь, уже здесь... Потом я его отжимала на валиках. Стиральная машина с валиками – в то время для нас был верх цивилизации, не каждая семья имела у себя в доме это чудо техники, и было приятно соприкоснуться с ним. До этого в нашем доме было только два механических чуда: швейная машинка и фотоаппарат «ФЭД». Но строчить мне ещё было рано, как считали взрослые, фотографировать – тем более (хотя и того и другого очень хотелось), но зато крутить валики стиральной машины – пожалуйста!

Кручу, кручу эти валики, но чувствую, что больше не могу, хочу на воздух.

Надеваю пальто (на улице зима), выношу на балкон стул, сажусь, вдыхаю полной грудью морозный воздух и – больше ничего не помню...

* * *

Когда я очнулась, было утро. Ярко светило солнце в замороженное окно.

Лежу в постели. Не могу понять, когда успела лечь, и почему утро, вроде только что был вечер, и я вышла на балкон продышаться. В комнату заглядывает бабушка: «Очнулась? Ну, слава Богу!» – «А что случилось, бабушка?»

И бабушка рассказала удивительную историю. Оказывается, мы все – мама, Мариша и я – отравились газом. Сначала свалилась я. Мама вышла на балкон позвать меня крутить дальше валики, а я – в отключке. Потом потеряла сознание мама. Потом Мариша. Хотя Мариша не ходила на кухню, а была с бабушкой в дальней комнате, и три двери, разделяющие нас, были закрыты, но газ просочился и туда, в самый дальний уголок квартиры, а ребёнок маленький, ей и этого хватило для отравления. Только бабушка не пострадала. И это великое счастье, а иначе кто бы нас спасал?..

Оказывается, всю ночь к нам ездили «скорые», бабушка их по старинке называла «карем-тами», («Одна карета за другой, одна за другой...») и нас троих «откачивали». Удивительно, что я ничего, решительно ничего не помнила! Удивительно, что нас не отвезли в больницу. Но мама и Мариша пришли в себя скорее, чем я, и мама воспротивилась тому, чтобы меня забирали в больницу. Врачи каким-то образом определили, что начальное бессознательное состояние плавно перешло в сон выздоравливающего человека, и оставили меня дома.

* * *

А во всём виновата была выварка! У неё такое дно, широкое и с ободом, обод низко опускался и закрывал доступ воздуху к газу. Происходило не полное сгорание газа. И мы им дышали. Ну и надышались... Вот такая история. Бабушка жутко испугалась. Тем более, что папа Федя был в командировке, и бабушка, плача, говорила: «Всю ночь мне чудилось: возвращается Фёдор – а в доме три покойника! Что я ему скажу? Он же мне не простил бы никогда!

О, горе!..» – и бабушка плачет. «Бабушка, радуйся, ведь мы живы!» – «Но если б ты только знала, что я пережила...»

Кстати, в то время (59-й год прошлого века) бытовой газ был совершенно без запаха, и обнаружить утечку газа или некачественное его сжигание было практически невозможно. Ничем не пахло, только голова начинала сильно болеть. Но поди, догадайся, что причиной тому – газ. В городе, где люди были ещё неопытны в обращении с ним, было много случаев отравления.

И даже витала некая газофобия – люди начинали бояться газа и предпочитали им вовсе не пользоваться, а лучше по старинке – электроплиткой, а ещё лучше – обычной печкой, благо, мы жили на Донбассе – в самом угольном районе, так что недостатка в угле не было.

* * *

Угля даже был переизбыток. Казалось, воздух был густой от рассеянной в нём угольной пыли. Мы приехали в Луганск в разгар зимы и увидели... чёрные сугробы! Снег был присыпан углем.

Поэтому, хоть мы и получили прекрасную квартиру в центре города, и у мамы была интересная работа в проектном институте, недалеко от дома, и у папы Феди была хорошая работа на строительстве, но, едва тут обосновавшись, родители тут же стали думать о том: куда бы отсюда уехать? Особенно волновалась мама. «Представляешь, ведь этот уголь не только на сугробах, но и у нас в лёгких!» – плакала она, а папа Федя мрачно молчал. Эти чёрные сугробы она долго потом вспоминала. Действительно, неприятное зрелище. Наверное, оттого, что близко от города были действующие шахты.

Сейчас там, говорят, такого уже нет.

Что было хорошего в Луганске

Но было в Луганске и много хорошего! Есть что вспомнить...

Весна 1960 года была ранняя и бурная... Стремительно растаяли чёрные сугробы – и нам открылся прелестный город, уютный и тёплый. По возрасту он как Днепропетровск, но намного меньше его – не такой огромный, и поэтому более домашний.

И тот, и другой город построила когда-то русская императрица Екатерина Вторая, очень активная женщина. Она много промышленных городов основала на Юге России. Кстати, Днепропетровск раньше назывался Екатеринославом, это потом его большевики переименовали в Днепропетровск, а вот Луганск почти всегда был Луганском. Его попробовали было переименовать в Ворошиловград, но к нашему приезду он опять был Луганском.

Екатерина Вторая была прогрессивной императрицей и очень любила Россию, не смотря на то, что родилась в Пруссии и была немкой. Но стала самой настоящей русской! Вот что удивительно.

А ещё в Луганске родился великий изучатель русского языка – знаменитый Владимир Даль, собиратель и составитель «Толкового словаря великорусского языка». Нам на уроке истории рассказывали. Владимир Даль, кстати, и в Оренбурге долго жил. Пополнял там свой словарь вкусными словечками. Так что мы с Далем ходили одними дорожками, но в разное время...

Про молодого логопеда и старика Юнга

Для меня в Луганске нашли прекрасного логопеда – молодую, ласковую, весёлую женщину, скорее даже девушку, с которой у нас возник контакт с первого взгляда. Мы с ней сразу стали, как подружки. Такое со мной случается крайне редко. Обычно я долго привыкаю к человеку, прежде чем начинаю с ним общаться, ведь я, как говорят мои домашние, – «бука». «Бука» звучит грубо, почти ругательно. Такое словесное клеймо. Обидно...

Потом (через много лет) я найду в мудрых книгах другое название, которое придумал для меня швейцарский психолог и философ, очень хороший человек – Карл Густав Юнг. Вот он понимал всё правильно. Оказывается, никакая я не «бука». Просто я – интроверт. И это звучит уже не ругательно, а возвышенно и романтично. «Интроверт – человек, повёрнутый внутрь себя, самоуглублённый, направленный на мир своих мыслей и переживаний». Интроверт – не заводи́ла, конечно, и не душа компании. Он занят ДРУГИМ. Он погружён в ДРУГОЕ. От этого у него и сложности с общением – он с трудом идёт на контакт с окружающими.

Но не читали мы в то время доброго старика Юнга. И даже имени его не слышали. И не могли услышать – в той стране, в которой мы тогда все жили. Та страна называлась Советским Союзом (поясняю для своей дочки, которая родилась в эпоху развала Советского Союза, и что именно стоит за этими двумя словами, ей знать уже не пришлось).

Советский Союз, Ксюша, был самой огромной страной в мире, но в той огромной стране не было места для книг мудреца Юнга. Как и для многих других замечательных книг. Они считались неправильными, вредными для граждан, и были просто-напросто запрещены. В каждом издательстве сидел строгий цензор, который внимательно следил за тем, чтобы никакая «вредная» книга не была опубликована. А вредной считалась любая книга, которая хотя бы слегка намекала на то, что человек имеет право думать СВОИ мысли и быть НЕ ТАКИМ, как все.

Психология считалась вредной наукой, ведь она показывала, что каждый человек – ОСОБЫЙ, что он имеет право быть НЕ ПОХОЖИМ на окружающих, что человек – ЛИЧНОСТЬ, а не простой винтик.

...Так вот, в присутствии моего весёлого логопеда, я забывала о своём страхе речи – мне становилось радостно, свободно. Мне ХОТЕЛОСЬ говорить. Как давно этого не было! С тех самых пор, как произошёл тот несчастный случай. Тогда-то и поселился во мне этот страх: что вот открою рот – а сказать ничего не смогу...

Но с этой милой девушкой мне было всё легко – я опять читала вслух стихи, как когда-то в раннем детстве, я с удовольствием общалась с другими детьми, которые приходили на коллективные занятия, я им сочувствовала: бедные, как им трудно говорить, а мне-то легко!

К сожалению, не помню имени логопеда, слишком давно это было. Но незабываемые часы общения, которые были для меня настоящим счастьем, помню до сих пор...

Мою маму она убеждала, что никакого заикания в классическом виде (именно как дефект речи) у меня нет. Если я спокойна – моя речь льётся свободно, без запинок. Но у меня возникает порой внутренний зажим, который является следствием нервного перенапряжения и, видимо, каких-то детских страхов. Единственное лекарство, которое она рекомендовала, это – ласковое, ровное отношение ко мне, и чтобы в доме была спокойная атмосфера.

– Главное – чтобы ребёнок не нервничал, – повторяла она настойчиво. – Не ругайте её из-за оценок.

– Да она у нас круглая отличница.

– Как раз дети-отличники часто очень нервничают из-за оценок, и их родители тоже – хочется, чтобы ребёнок приносил только пятёрки! Но счастье – не в пятёрках. Обратите внимание: вот сейчас Лена спокойна и прекрасно общается с детьми, никаких запинок в речи.

Если в доме у вас всегда будет тёплая, спокойная, ровная атмосфера, то скоро ваша девочка, и вы вместе с ней, забудете о том, что у неё были проблемы с речью. Проблем-то с речью нет!

Мама понимающе кивает: да-да, конечно. А я с надеждой думаю, что может, теперь-то на меня не будут больше кричать дома. Какое счастье! Маме всё объяснили, она всё поняла и – согласилась. Какое счастье! Теперь дома всё будет по-другому...

* * *

Сажу за своим столом, вечер, делаю уроки. Бабушка и мама на кухне. Маришка бежит туда-сюда, то в комнату, то на кухню, квартира большая, простору много, Маришка только недавно научилась ходить и всю носится, пользуясь своей новой счастливой возможностью. Всё время слышу за спиной то удаляющийся, то приближающийся топот маленьких ног...

Вдруг – где-то (видимо, в дверях комнаты) – шлёп-с!.. И тут же – оглушительный Маришкин плач!.. Дальнейшее происходит стремительно: мама влетает в комнату и, пробежав мимо лежащей на животе и ревущей Маришки, подлетает ко мне и – хлясь, хлясь! – жёсткой, обжигающей ладонью по моим щекам...

– Мама, за что?!

– Чтоб за ребёнком лучше смотрела!.. – кричит мама. – Ты чем тут занимаешься? Почему она упала?!!

– Я уроки делаю, мама...

– Всё равно должна за ней смотреть!

– Я спиной к двери сидела, мама, я не видела...

Хлясь, хлясь!.. – по одной щеке, по другой.

– Должна видеть!

Рассказ о собачьей любви

Там же, в Луганске. Сажу за столом, но уроки не делаю, а читаю свежий номер журнала «Огонёк». Удивительный рассказ! (Хочу разыскать подборку «Огонька» за 1959 год и перечитать его).

Рассказ тот был о любви. О любви нежной и романтической. Но не между людьми, а между собаками. Хотя, может, в том рассказе действовали и люди, но я запомнила только двух собак.

Я совершенно захвачена этой любовной историей... И вдруг за моей спиной возникает бабушка.

– Ты чем это занимаешься тут? – спрашивает она голосом строгой, очень строгой учительницы.

– Я... тут... только страничку...

– А ты знаешь, что тебе ещё рано читать такие рассказы?! Знаешь?! – кричит не-моя-бабушка – бабушка из перевернутого мира.

– Я не знала... – лепечу я.

Дальнейшее – незабываемо. Не-моя-бабушка хватает меня за волосы, выволакивает из-за стола, тащит... я упираюсь, ору, мне больно... Дотащив меня до стены, не-моя-бабушка начинает колотить стену моей головой. То есть, попросту говоря, бить меня головой о стенку. Причём, долго и сильно. При этом, она очень больно щиплет меня, буквально ввинчивая в меня раскалённые, как угли, щипки... Мои слёзы только подогревают её...

Не знаю, точнее – не помню, докладывала ли бабушка на вечернем докладе маме о ещё одном «хорошем» способе укрощения ребёнка.

Да, это был рассказ о нежной собачьей любви. Но неужели девочке девяти лет нельзя знать о том, что на свете существует любовь?!

Что во мне не так?

Я не понимала, за что они меня так сильно не любят. Этот вопрос мучил меня постоянно: за что мама и бабушка меня разлюбили? И что я должна сделать, чтобы они опять меня полюбили? Ведь они любили меня когда-то... на Философской улице... когда я была маленькая... И в Оренбурге, вроде, любили. И осенью на Философской бабушка меня очень любила. Моя настоящая бабушка.

А здесь, в Луганске, – не-моя-бабушка. И мама какая-то странная. Тоже не-моя. Я даже не подозревала, что мама может ударить меня. И что бабушка – тоже...

Я не пойму, что с ними случилось. Или это случилось что-то со мной? Я почему-то жутко раздражаю их, маму и бабушку. Господи, что во мне не так?! Мне кажется, я была вполне хорошей девочкой. Приносила из школы одни пятёрки, ходила самостоятельно к логопеду, помогала бабушке по дому, крутила валики стиральной машины, много играла с Маришкой, купала её, читала ей, гуляла с ней...

Прогулки с Маришей

Нас часто останавливали на улице прохожие:

«Девочка, сколько тебе лет? Девять? А твоей сестрёнке? Полтора?! А почему вы одни по улицам ходите? Гуляете?! А мама знает об этом?»

Прохожие думали, что мы или потерялись, или сбежали из дома. Допустить, что такого крошечного ребёнка могли доверить такой небольшой ещё девочке, народ не мог.

Однако мне Маришку доверяли. И мы любили с ней гулять не в квадрате двора – а по нашей красивой улице Ленина и в ближайшем сквере. Мы жили в угловом доме. Потом шёл дом с книжным магазином на первом этаже, потом ещё один дом, филармония, а дальше – светофор.

О, чудо! В Луганске я впервые в жизни увидела светофор. До этого в городах, где мы жили, я видела только милиционеров-регулирующих. Да и не на всех улицах они стояли, а только где-нибудь на шумных площадях с большим движением. Помню, как в Оренбурге было страшно, по дороге в школу, и по дороге обратно перебегать широкий проспект, по которому мчались на большой скорости грузовики... Очень страшно.

А здесь – светофор!

Мы с Маришкой чинно ждали зелёного света, даже когда машин не было, чинно переходили улицу и оказывались в большом уютном сквере. Этот сквер я проходила по диагонали каждый день утром, когда шла в школу. И ещё раз – когда шла из школы домой. Моя школа №2 находилась сразу за сквером – на Почтовой улице. А потом, после обеда, мы гуляли в этом сквере с Маришей. Самое любимое наше место для прогулок. Высокие старые деревья, весёлый щебет воробьёв, сверкающие на солнце лужи. Как будто солнце расплескалось по дорожкам сквера!..

Это – самый центр Луганска. За сквером виднелось здание Обкома партии. В центре сквера – большой памятник Ленину.

(Пояснения для дочки Ксюши: в те далёкие времена во всех городах нашей страны стояли памятники Ленину – основателю советского государства. И в центре каждого областного города, в каком-нибудь красивом здании, был областной комитет партии. А партия в те годы в стране была одна – коммунистическая, без вариантов. И в каждом городе центральная улица непременно носила имя Ленина).

А прямо напротив сквера, если перейти широкую улицу Ленина, был мамин проектный институт, в красивом старинном здании.

Мне нравится жить в центре большого города. Так было и в моём раннем детстве – в Днепропетровске. Мне нравится, когда вокруг много домов и много людей. У меня от этого хорошее настроение. Я – истинная горожанка.

И непременно на обратном пути мы с Маришей заходили в мой любимый книжный магазин...

Книжный магазин

Книжный магазин – это моя страсть! Денег на покупку книг у меня, естественно, никогда не было, но это был первый в городе магазин самообслуживания. Можно было подойти к полкам! и самой! перебирать книжки! и взять книжку с полки! и пролистать! и даже почитать немножко! Это было ни с чем не сравнимое блаженство...

Запах книжного магазина, запах новой книги – один из самых прекрасных на свете запахов.

В Оренбурге в нашем доме (прямо в нашем доме!) тоже был книжный магазин, и мне не нужно было никаких сладостей, никаких игрушек – только бы мама купила новую книгу.

В этот магазин, который был в Луганске, я заходила по дороге из школы домой, и во время прогулок с Маришей. Меня там уже узнавали: «О, наш книгочей пришёл!» – улыбались продавщицы.

Именно в этом чудесном магазине, как только мы приехали, мама купила мне толстый синий том сказок Ганса Христиана Андерсена, который стал моим любимцем. Два сереньких тома Аркадия Гайдара, его я тоже сразу полюбила. И четыре ярких, разноцветных тома из серии «Библиотека приключений» – «Тайна двух океанов», «Три мушкетёра», «Оцеола – вождь семинолов» и «Последний из могикан». Книги прочитывались мной быстро, и у меня всегда была сильная жажда на новые книги.

– О, наш книгочей пришёл!

Я приходила в магазин, как в читальный зал, и читала, привалившись к полке... Особенно любила книгу «Артёмка». Про бедного, неунывающего мальчика-сироту, который подружился с циркачами. Удивительная история!

– Девочка, скажи маме, чтобы она тебе купила эту книгу, – говорила продавщица.

Я долго не решалась попросить маму. Но потом всё же попросила. Мама «Артёмку» купила! Я была счастлива.

Встречания мамы

А вечером я ходила встречать маму с работы. Тут уже надо было переходить дорогу дважды. Дважды стоять по-взрослому перед светофором. Благодаря этому трёхглазому чуду цивилизации, совершенно не страшно было переходить улицы. Луганск мне запомнился, как безопасный, уютный, ласковый город.

Итак, я заходила в вестибюль маминого проектного института, меня уже знал вахтёр, мы здоровались, как старые знакомые, и улыбались друг другу.

– За мамой пришла? – спрашивал он одобрительно.

– Ага.

– Ну, проходи.

Я садилась в холле на мягкую банкетку, напротив круглых часов на стене, и ждала маму.

Приходила всегда минут за десять до окончания рабочего дня. И эти десять минут были какие-то особенные – наверное, это были минуты медитации, хоть я и не знала тогда этого слова. Мне было удивительно спокойно и хорошо в эти минуты. И в этом спокойствии растворялись все обиды и недоумения. Это были минуты, когда я принадлежала только себе. Такие минуты нужны не только взрослому, но и ребёнку. Минуты наедине с собой.

...И вот уже с высокой лестницы начинали спускаться работники института. И тут я как бы выходила на сцену. Продолжая сидеть на своей банкетке, я оказывалась в центре внимания.

«Ой, а чья это девочка?» – слышала я в свой адрес. «Так это же Лидии Андреевны дочка! Разве не видно?» – говорил кто-то. «Да-да, копия Лидии Андреевны. Как две капли воды похожи!» «А сколько же тебе лет, девочка? Девять? И ты уже такая самостоятельная?»

Хоть я приходила сюда каждый день, но всегда находился кто-то, для кого это было в диковинку. Все мне улыбались. Все одобряли, что я похожа на маму. Удивлялись, что я прихожу за мамой. Как будто это я – мама, и пришла за своей дочкой. Да, в этих моих встречах, наверное, было что-то необычное.

Но тогда я делала то, что просило моё сердце. А просило оно хотя бы десяти минут наедине с собой (больше мне уединиться было негде). И хотя бы десять минут наедине с мамой. С моей-мамой. С той, которая – не дома.

И вот она уже появляется, спускается по лестнице, высокая, лёгкая и красивая, с бело-снежной своей, искристой улыбкой... И берёт меня за руку, и мы идём мимо вахтёра, который одобрительно говорит: «Заботливая у вас дочка!» И другие люди тоже что-то говорят нам на прощанье, и все говорят ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ.

А потом мы идём к дому, и мама чаще всего молчит. Она устаёт на работе, и ей не до разговоров. Но мне всё равно хорошо, потому что мама держит меня за руку. А рука у неё тёплая и нежная. И очень не хочется думать о том, что сейчас мы придём домой – и опять начнётся, а точнее – продолжится жизнь-в-перевёрнутом-мире...

Спасибо Луганску

В этом городе я жила как бы двумя жизнями. Одна жизнь у меня была дома – болезненная и порой даже страшная. А главное – непонятная.

А вторая жизнь – вне дома: тёплая, улыбочивая. Везде – на улице, в книжном магазине, в сквере, в кабинете логопеда, в мамином институте, – везде я слышала добрые, приветливые слова в свой адрес и видела добрые, искренние улыбки.

Спасибо вам, милые, хорошие люди города Луганска! Если бы вас и вашей доброты не было – то не было, может быть, сейчас и меня. Всё-таки чаши весов должны как-то уравновешиваться...

В тот, очень тяжёлый период жизни меня спас ДОБРЫЙ ГОРОД ЛУГАНСК.

Я хотела бы когда-нибудь пройти ещё раз по улицам этого тёплого города и увидеть приветливые улыбки прохожих...

Грустные ответы на горькие вопросы

Да, я решительно не понимала, что во мне НЕ ТАК, и что вызывает такое жгучее раздражение у мамы и у бабушки? Ну, ем плохо, это факт. Но если бы они меня не заставляли, я, может, ела бы лучше. Когда я вижу перед собой гору еды, которую я заведомо не могу съесть, и слышу грозное: «Не выйдешь из-за стола, пока всё не доешь!» – на меня находит отчаянье. И кусок не лезет мне в горло...

Но разве можно так сильно не любить ребёнка за его плохой аппетит?..

Давясь едой и слезами, я думала: «Если у меня когда-нибудь будут дети, я никогда, никогда не буду заставлять их есть!» Так думала я, находя в этом утешение...

* * *

Бедная бабушка, бедная мама... Тогда, в отрочестве, я плакала от боли, от обид, я не понимала: за что??? За что они так со мной??? Что я им плохого сделала???

Теперь, спустя целую жизнь, я понимаю, что вопрос «за что?» здесь совершенно неуместен. Можно только спросить: почему? И ответить: ПОТОМУ. Потому, что человек, прошедший через войну, навсегда остаётся инвалидом. Даже если у него руки-ноги целы. Но внутри...

И моя мама, и моя бабушка прошли через такое... после чего человек не может остаться психически здоровым. На глазах у мамы, которой было в ту пору четырнадцать лет, расстреляли её отца. Он был подпольщиком. А мама, ещё девочка-подросток, была связной между подпольщиками и партизанами. Как челнок, она ходила туда-сюда – в город, занятый немцами – в лес, где прятались в землянках партизаны. Носила донесения и приказы, которые выучивала наизусть, у неё была очень хорошая память, носила бланки для документов...

И моя бабушка была подпольщицей. Потом немцы схватили её – и было гестапо (такое страшное место, где фашисты пытали людей). Но всё равно бабушка никого не выдала. И тогда её приговорили к расстрелу...

Но привести в исполнение приговор не успели (наши войска в ту ночь перешли Днепр и взяли Днепропетровск). Так что расстреливать было некогда. Заключённых, которые находились в городской тюрьме, погрузили в товарные вагоны и спешно отправили на запад... А списки, приговорённых к расстрелу, остались в тюрьме. И моей маме сказали, что её маму расстреляли. А ей и шестнадцати лет ещё не было. Ни дома, ни семьи. И надо как-то выживать... А у бабушки в это время были концлагеря: Маутхаузен, Дахау, Освенцим, Равенсбрюк...

Я так часто слышала потом от бабушки эти страшные названия, что никогда в жизни их не забуду – и ТО, что за этими названиями стоит. Я как будто сама ТАМ побывала...

И совсем не удивительно, что за всё моё детство бабушка не рассказала мне ни одной сказки. «Деточка, я не умею рассказывать сказки...»

Да, физические раны можно кое-как залатать и создать видимость здоровья, и даже молодости, и даже красоты. Маме по окончании войны было семнадцать, она была ослепительной красавицей с кровоточащей душой. Бабушке, когда она вернулась из концлагеря, было всего сорок четыре, тоже ещё молодая женщина, только без волос и без зубов. Но зубы и волосы можно как-то реставрировать. И только внутри... Душа, сознание, психика – они остаются навсегда искалеченными.

Сломанная рука, или нога, которая потом срослась, – всё равно ноет на перемену погоды. Что уж говорить о душе, побывавшей в аду! То, что происходило с моей бабушкой и с моей мамой, можно сравнить лишь с тем, как по человеку всю жизнь гуляют осколки. Я знала таких людей: десятки лет прошли после войны, а осколки всё выходили и выходили из тела... Но бывает, что всю жизнь в человеке блуждают ПСИХИЧЕСКИЕ осколки и выходят из души с адской мукой. С мукой не только для него самого, но и для тех, кто рядом...

Меня воспитывали две искалеченные войной женщины. Им бы надо было пройти психическую реабилитацию, прежде чем заводить в своей жизни ребёнка – меня. Но кто тогда, в конце сороковых прошлого века, заботился о реабилитации искалеченных войной людей? Всё население огромной страны надо было реабилитировать – лечить, возвращать к жизни, заново учить простым человеческим чувствам. Но тогда и слова-то такого иностранного не знали – реабилитация. Работай, вкалывай! – вот и вся реабилитация.

В итоге моё поколение выросло очень зажатым, закомплексованным – нас слишком жёстко воспитывали. Почти по-военному. По-другому не умели.

* * *

Сейчас часто можно услышать: афганский синдром, чеченский синдром... После Великой Отечественной войны не ставили таких диагнозов, войну принято было возвеличивать, описывать её в романтических красках. Но сотни, тысячи (страшно сказать: миллионы) людей всю последующую жизнь прожили с этим тяжелейшим синдромом. Люди, прошедшие через ад войны, оказывались не способными к мирной жизни: к мирным переживаниям, к нормальным, спокойным реакциям. Оказывались не способными к ласке, к юмору, к прощению.

Но зато эти люди легко впадали в ярость, нетерпимость и даже ненависть. Враг разбит, но они продолжают искать его в окружающей действительности. Война продолжает бушевать у них внутри, производя своё разрушительное действие – не только на них самих, но и на окружающих, и, прежде всего – на детей, которых они рожали, будучи, по сути, тяжело больными людьми.

* * *

Особенно страшно, когда под одной крышей живут двое, у которых есть претензии друг к другу. К примеру: «Ты меня посылал на верную смерть, а сам в это время отсиживался в тёплом бункере!» Что-то вроде этого происходило в нашей семье.

Бабушка плакала, укоряя маму:

– Дочь родная, а никогда не назовёт мамочкой, не скажет мне ласкового слова...

Мама плакала, укоряя бабушку:

– Как она – МАТЬ! – могла посылать меня, РЕБЁНКА, ночью в лес, к партизанам – через мост, который охраняли немцы?! Тридцать пять километров пешком по лесу! Тридцать пять только в одну сторону!! Ведь я могла погибнуть. Неужели у неё не болело за меня сердце?!

Я спрашиваю маму:

– Мама, разве бабушка тебя посылала против твоей воли? Разве ты не сама вызвалась идти в лес?

– Ну да, сама... Ведь мы так были воспитаны. Мы были патриотами. Но она НЕ ДОЛЖНА была меня туда отпускать!

* * *

И вот уже десятки лет прошли с той войны, и давно уже нет на свете бабушки, а моя мама (сама уже бабушка) горько повторяет: «Мама НЕ ДОЛЖНА БЫЛА меня туда посылать!..» Раны войны по-прежнему кровоточат. И человек всю долгую жизнь продолжает выяснять отношения с теми, кто посылал его на смерть.

– А главное, – говорит мама, – что все эти жертвы были совершенно напрасными. Весь наш героизм был даже вреден.

– Как так, мама?

– Да так. Убьют подпольщики одного немца, кого-нибудь из комендатуры, а немцы после этого выводят на расстрел целую улицу: женщин, стариков, детей... И так каждый раз. Партизаны совершат какую-нибудь диверсию: взорвут мост, или пустят эшелон с оружием под откос и – уходят в лес. А расплачиваются мирные жители... Я убеждена: никому не нужна была эта подпольная деятельность. И партизанская тоже. Только дополнительные жертвы, только жертвы... Вот и папу моего расстреляли у меня на глазах. А мог бы жить. Он ведь по возрасту уже не подлежал призыву в армию, ему было сорок пять. Мог бы жить...

* * *

Мама так и зависла там на всю жизнь – в том времени, в том оккупированном немцами городке на Украине... Да, я понимаю, как люди, прошедшие войну, потом всю жизнь пишут о ней. А если не пишут – то неотступно думают о ней... А жизнь проживают как бы на автопилоте, лишь изредка выныривая из глубин горькой памяти – к действительности: «Ой, а дети-то уже и выросли!..»

Наверное, те, кто оказался на войне взрослым, с уже устоявшейся психикой, эти потом скорее пришли в норму. Но те, кто нырнул в пучину войны ребёнком или подростком – они не оправились потом никогда. Моя мама никогда не жила сегодняшним днём, никогда не была полностью в настоящем, вот в этой минуте: здесь и сейчас. Она всегда не здесь и не сейчас, всегда далеко...

Все силы её ушли на оплакивание той четырнадцатилетней девочки, которая, после автоматной очереди, уложившей её отца, упала без памяти на снег...

Мама как будто так всю жизнь и пролежала на том снегу, оставшись холодной к нашим попыткам согреть её. И когда мы, её дети, пытаемся оторвать её от того страшного, будто заколдованного места, она впадает в обиду и гнев, она цепляется за это место изо всех своих сил и оторвать её невозможно – потому что она НЕ ХОЧЕТ отрываться.

Потому что НИЧТО во всей последующей жизни по силе переживаний не было сильнее того страшного переживания. И чаша весов, на которую легли шестьдесят лет мирной жизни, никогда не перевесит для неё чашу весов, на которой лежат четыре года войны. Вот и всё. Такая жуткая арифметика. Четыре – весомее, чем шестьдесят...

* * *

«Какие же вы у меня замечательные, – говорит порой мама, с трудом вынырнув на поверхность сегодняшнего дня. – И дочери у меня замечательные, и зятья, и внуки. Ну, такие все хорошие! И какая же я счастливая, что вы у меня есть», – уговаривает, уговаривает себя мама, пытается внушить себе эту светлую мысль.

Но самовнушение работает недолго. Она быстро устаёт, истощается. И опять я слышу исполненную глубочайшей тоски жалобу: «Как же тяжело жить, когда не за что ухватиться... когда ты так одинок...»

И я почти физически вижу её на том холодном снегу...

Господи, хотя бы Ты ей помог! Открыл бы ей глаза на то, что в жизни есть свет и радость, смысл и тепло. Ибо от нас она это не принимает. Берёт – и не чувствует. Живёт как за стеклянным занавесом... И плачет там, неутешная, и НЕ ХОЧЕТ быть утешенной. Помогите ей, Господи!

* * *

Но это сейчас, сегодня, будучи взрослой, совсем-совсем взрослой, я понимаю, точнее – пытаюсь понять... пытаюсь сконструировать тот непостижимый и страшный мир, в котором всю жизнь живёт моя мама, точнее – не мир – а войну, с которой она так и не вернулась, не была ничем и никем спасена...

Это сейчас я говорю: бедная мама, моя бедная-бедная мама... Но тогда, когда мне было девять лет, когда я была по сути ещё ребёнком, хоть и казалась себе из-за тяжести переживаний взрослой, – тогда только один вопрос терзал меня, и я не находила на него ответа: ЗА ЧТО?

Мама, за что? За что, бабушка? Разве я не любила вас? И разве вы не любили меня? Но тогда почему происходило это страшное в нашей жизни? И если это – любовь, то что же тогда НЕ любовь?.. Если это – белое, то что же тогда чёрное? И как в такой ситуации не стать дальтоником?..

Про секцию гимнастики

В Луганске. Обожаю физкультуру! Я очень гибкая – когда делаю мостик, складываюсь пополам, и даже могу просунуть голову между ног. Учительница физкультуры говорит, что если бы я выступала в цирке, то могла бы показывать номер «каучук»: когда человек гнётся как угодно и завязывается узлами.

В школу пришёл дядечка из спортивной школы – тренер по спортивной гимнастике. Он приходит на уроки физкультуры и смотрит на нас – ему нужны девятилетние девочки в его секцию. Школа огромная. Пять параллелей. Пять третьих классов, и в каждом классе не меньше тридцати человек.

И – о, чудо! – из всех пяти классов он отобрал только двух девочек: меня и ещё одну.

Он сказал: «Вот эти две мне подходят. Очень перспективные». Потом спросил меня: хочу ли я заниматься спортивной гимнастикой? У меня сердце чуть не выпрыгнуло от счастья: да, да, конечно, очень хочу!

Как же я бы счастлива! Как я летела домой!.. С трудом дождалась маминого прихода с работы.

– Мама, мама! Меня отобрали в спортивную школу! Тренер приходил, смотрел... Меня и ещё одну девочку – только двух со всей школы! Представляешь?! Как я счастлива, мама! Я буду гимнасткой!

– Ни в какую спортшколу ты не пойдёшь, – мрачно говорит мама.

Я немею... Потом из меня вырывается жалкий крик-мольба:

– НО ПОЧЕМУ, МАМА?! ПОЧЕМУ?!

– Не пойдёшь – и всё. Без разговоров!

...Потом, спустя много лет, я спросила её:

– Мама, а почему ты меня не пустила тогда в спортивную гимнастику, когда меня тренер отобрал?

– Ой, я не помню уже...

– Ну, всё же. Постарайся вспомнить. Мне это очень важно. Я хочу понять. Ты так бесповоротно сказала тогда: «Не пойдёшь!» Почему всё-таки?

– Ну, не знаю... Может, настроение было плохое.

Вот и весь ответ.

Подмоченный праздник

В Луганске. Нас, третьеклассников, скоро будут принимать в пионеры. Это событие должно произойти 22 апреля, в день рождения Ленина, прямо в нашем любимом сквере – у памятника Ленину. Школа готовится к этому дню, как к большому празднику.

Бабушка купила мне красный сатиновый галстук и хорошенько наутюжила его.

Как назло, в этот день резко испортилась погода, пошёл дождь.

Но нас всё равно повели в сквер к памятнику вождю. Все пять классов. Мы стояли у памятника в парадной школьной форме и мокли. Старшая пионервожатая говорила слова – о том, что мы должны любить родину и быть готовы защищать её.

На сгибе руки каждый из нас держал галстук. Старшеклассники шли вдоль рядов третьеклассников и каждому повязывали на шею его галстук. Может быть, всё это выглядело бы торжественно и красиво, если бы не хмурый, совершенно серый день. И этот мерзкий дождь. А тут ещё и ветер налетел!..

И, не успела дойти до меня очередь быть принятой в ряды пионеров, как мой галстук слетел с моей руки и шлёпнулся прямо в лужу! Я вытащила его из лужи, с него стекала грязная вода... Всё, меня в пионеры не примут, – подумала я расстроено. Нельзя же вешать на шею эту мокрую, грязную тряпку! Но тут ко мне подошёл старший пионер, с чувством нескрываемой брезгливости взял мокрый, грязный галстук и безжалостно повязал его мне на шею. Как холодный компресс. Ну, не оставлять же меня из-за этого казуса не пионеркой. Всё же это не преступление перед родиной – уронить галстук в лужу, – чтобы меня тут же исключать из пионерской организации, не успев туда принять.

С кончиков галстука на мой белый, парадный фартук капали грязные капли... Мне было и смешно, и досадно, и стыдно. Какой-то странный у меня получился праздник. Подмоченный.

Дома бабушка, конечно же, отругала меня, забирая галстук и парадный фартук в стирку.

– Бабушка, ну я же не виновата, честное слово. Так резко ветер подул!..

– Крепче держать надо было! Горе моё луковое. И всё-то у тебя – не как у людей...

Страшная экскурсия

В мае нас, третьеклассников, возили на автобусе в Краснодон. Краснодон – небольшой шахтёрский город, недалеко от Луганска. Здесь во время Отечественной войны была большая подпольная организация из школьников старших классов.

Ребята свою организацию называли «Молодая гвардия». Они здорово вредили немцам. В основном, тем, что распространяли среди местного населения правдивую информацию о делах на фронте. Разбрасывали повсюду листовки. И таким способом поддерживали дух в народе. Ну, и ещё по-разному вредили оккупантам.

А потом всех молодогвардейцев схватили, пытали и убили. Это похоже на то, что случилось с подпольной организацией, в которой были моя бабушка, мама и дед Андрей. Почему-то всегда находится предатель, который всех предаёт. Предатель – самый страшный человек на свете. Он даже страшнее явного врага.

Теперь в Краснодоне есть музей Молодой гвардии. На стенах – их фотографии. Красивые мальчишки и девчонки... весёлые... Олег Кошевой, Люба Шевцова... и много других. Они прожили совсем мало. И не было им жаль своих жизней – только бы поскорее освободить родину от фашистов.

Я чуть не плакала, когда нас водили по этому музею. А ребята с фотографий как будто смотрели на нас с вопросом: забудем мы их или не забудем?

Интересно: знают ли они ГДЕ-ТО ТАМ, что уже написали книгу об их подвиге, и сделали о них фильм? И книга, и фильм так и называются – «Молодая гвардия». Отличные артисты играют в этом фильме...

Конечно, я думаю, что люди не забудут краснодонцев. Но всё равно очень, очень жаль их совсем короткой жизни...

А потом нас повезли за город и высадили из автобуса в голой, совершенно чёрной степи. И подвели к чёрной дыре в земле. И сказали, что это – тот самый шурф старой шахты, куда немцы сбросили краснодонцев живьём. А потом пустили туда вагонетку... И несколько суток ещё по степи разносились стоны умирающих молодогвардейцев... мальчишек и девчонок... И матери их ничем не могли им помочь. Никто им не мог помочь, потому что немцы не подпускали никого к этому шурфу.

Я заглянула в эту чёрную дыру... Я представила их там – в страшной глубине... У меня закружилась голова, и я еле устояла на ногах.

Никогда не забуду этот шурф посреди чёрной степи... И нас, девятилетних детей, оцепенело стоящих вокруг этого жуткого места...

* * *

Всю дорогу обратно, и весь вечер, и много-много дней я думала только об одном: неужели взрослым немцам не жалко было убивать наших мальчишек и девчонок?.. Да ещё так страшно убивать – таким лютым способом! Разве это люди?.. А если не люди – то кто же тогда они?

Бабушка говорит коротко: «Фашисты». И я понимаю это так: фашист – он с виду как человек, он даже может играть на губной гармошке, бабушка говорит, что многие фашисты хорошо играли на губных гармошках. Но внутри у фашиста ничего человеческого не осталось. А куда оно подевалось?.. Ведь все фашисты были когда-то маленькими, миленькими детками...

Этот вопрос с того дня не даёт мне покоя. Почему человек перестаёт быть человеком? В какой момент жизни это происходит, и по какой причине? И неужели внутри у человека нет НИЧЕГО такого, что не дало бы ему превратиться в фашиста?..

И ещё вопрос: в каком возрасте ребёнку нужно говорить о страшном? В девять лет – не рано ли?..

Но я-то о страшном слышала с пелёнок.

Про ландыши

Наши незабываемые прогулки с Маришкой... Всё там же, в Луганске. Весна. Часто дожди. Весёлые и короткие. И тут же много солнца!.. В воздухе разлита нежность.

Луганск – это потому, что где-то неподалёку зеленеют луга?.. Наверное, так. И с лугов в город приходит нежность, и окутывает улицы тёплым маревом... Мы с Маришкой шлёпаем по сверкающим, ярко-жёлтым от солнца лужам...

«Девочка, и куда это ты ведёшь ребёнка?» – «Да гуляем мы, гуляем!»

* * *

На улицах на столбах – чёрные репродукторы (теперь их можно увидеть только в фильмах про Отечественную войну). Эти репродукторы на улицах – была удобная вещь. В то время, когда ещё не было телевиденья, а газеты выписывали далеко не все граждане, и даже простой радиоприёмник в доме являлся признаком роскоши и был не у всех, надо же было как-то сообщать народонаселению разные новости, плохие или хорошие. И вот, идёт человек в булочную, а тут ему – из репродуктора – трагическим голосом Юрия Левитана: «Сегодня в четыре утра началась война!»

И всю войну каждый день люди приходили к этим репродукторам, чтобы послушать последние известия – они назывались «Сводки информбюро»: такие-то города наши войска сдали, такие-то взяли... И – наконец – тем же рокошущим, как океан, торжественным голосом Юрия Левитана: «Дорогие товарищи, мы – победили!»

Толпы народа скапливались под этими рупорами на столбах: плачут, смеются, обнимаются – все в едином порыве...

А сейчас, в мирное время, из репродукторов звучат всякие хорошие, радостные новости: столько-то тонн угля добыли горняки, столько-то гектар пашни засеяли колхозники...

А в перерывах между новостями звучит музыка. Люблю, когда Леонид Утёсов поёт: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?..» От этой песенки мне и хорошо, и грустно; и я вспоминаю своего друга Мишку Бочкарёва в Оренбурге....

И вот гуляем мы с Маришей по жёлтым лужам, а из репродукторов несётся совсем новая песенка:

От этих ландышей очень радостно на душе. Кажется, что всё тяжёлое позади, и никогда ничего грустного в жизни не будет. Я заметила: какая-нибудь пустячная песенка с весёлым мотивчиком может сделать меня совершенно счастливой. И переживание счастья помнится потом очень долго.

Вот как эти белые ландыши... Столько лет прошло, а я их помню, как будто слышала только вчера: «Ландыши, ландыши, светлого мая привет...».

Ландыши, ландыши, светлого мая привет.

Ландыши, ландыши, белый букет...

Про дядю Павла

И ещё одно воспоминание связано с Луганском. Весна, дождь, поздний вечер, на улице уже темно. Мама неожиданно говорит мне:

– Не хочешь прогуляться?

– Хочу, – говорю я, и меня охватывает тревога: наверное, бабушка что-то наговорила на меня, и мама намерена мне сделать выволочку. Хотя зачем для этого идти в дождь?.. Выволочку можно сделать и дома.

Мы выходим из дому и медленно, молча идём по нашей улице, в тихом, тёплом морошении дождя... Шелестят машины... Любимый светофор. Мы переходим на зелёный свет улицы и углубляемся в мокрые аллеи сквера. В лужах плавают, как надувные шары, круглые отражения фонарей... Так красиво!

Уютно светят в сыром воздухе окна домов за деревьями, пахнет молодой листвой и сыростью, но совсем не так, как осенней сыростью. У весенней сырости запах иной – тонкий, прозрачный, летучий... И вечер был бы чудесный, если бы не мамино напряжённое молчание. Побродив молча по скверу, мы возвращаемся к светофору, стоим, пережидая красный свет. И вдруг мама ни с того, ни с сего спрашивает:

– Ты помнишь дядю Павла?

– Конечно, – говорю я.

Конечно, я помню дядю Павла. Хоть он и приезжал к нам очень давно – ещё когда мы жили в Оренбурге на Полигонной улице.

Дядя Павел – лётчик, друг Фёдора. Он приехал в будний день, мама и Фёдор были на работе, и встречать его на вокзал надо было ехать нам с бабушкой. «Как же мы его узнаем?» – волновались мы с бабушкой. «Вы его сразу узнаете», – уверенно сказал Фёдор.

Так и получилось. Он вышел из вагона – и мы его сразу узнали: дядя Павел был в синей форме лётчика, а из-под синей фуражки выбивался соломенный густой «чуб», как сказала бабушка. Глаза у лётчика были большие, карие, смеющиеся. Он был сказочно красивый! Я побежала ему навстречу с радостным криком:

– Дядя Павел! Дядя Павел! А мы вас встречаем!

– Неужто ты, Леночка? – удивился он, подхватил меня на руки, высоко поднял над головой. Ого, какой он сильный! Я всё-таки уже большая девица, мне скоро шесть лет, а он подхватил меня, как пёрышко, а потом крепко прижал к груди, как будто всю жизнь искал меня и вот, наконец, нашёл. И, не отпуская меня на землю, обнял и поцеловал бабушку, как родную мать. И мы с бабушкой обе цвели, как две розы – мы точно попали в сказку, где нас, вот так, совершенно ни за что, с первого взгляда ЛЮБЯТ! Это было волшебное...

И все дни, что дядя Павел гостил у нас, были волшебными. Была зима, он возил меня в центр города, там стояла большая ёлка, он покупал мне апельсины, которых я до того просто в глаза не видела, и каждый раз мы возвращались домой на такси. Он рассказывал про свою дочку, которой было столько же лет, как и мне, и про маленького сына. Он ехал через Оренбург к месту своей новой службы, а с Фёдором они подружились ещё когда служили в армии, где-то под Ленинградом.

Потом дядя Павел уехал, но навсегда поселился в моём сердце, в самом уютном его уголке – там, где до этого обитал только папа Серёжа.

Там теперь жил и дядя Павел... Я горячо полюбила его, и когда мне было плохо и одиноко, представляла: что вот приедет дядя Павел, подхватит меня на руки, крепко прижмёт к груди – и все неприятности разом кончатся. О дяде Павле я мечтала даже чаще, чем об отце, потому что его приезд был более реальным, ведь дядя Павел и Фёдор дружили, а папа Серёжа

и Фёдор, как я догадывалась своим детским умом, дружить никак не могли, и ждать приезда отца было совершенно напрасно...

Мои воспоминания прерывает мамин голос:

– Да разве ты можешь его помнить? Ведь он приезжал очень давно, ты была совсем маленькая.

– Ещё как помню!

– Он больше никогда не приедет к нам, – говорит мама каким-то отчуждённым, далёким, глухим голосом.

– Почему?

– Потому что... дядя Павел погиб.

Меня как будто молотом ударили по голове.

– Как... погиб!?

– Разбился. Его самолёт взорвался, когда шёл на посадку. Это случилось далёко, в Индии... Он там служил последнее время. Посадочная полоса была заминирована...

В моей голове жар и сумятица: какая Индия?! Какая заминированная полоса?! Жуткий, кошмарный сон... Я не понимаю, не верю, не хочу верить, не МОГУ!!!

– Может, это неправда?.. Мама!!

– К сожалению, страшная правда. Мне его жена написала, тётя Лена.

Погиб... Разбился... Взорвался...

А как же весёлый смех дяди Павла, его карие глаза, его соломенный чуб?.. Где теперь это всё?.. А его голос, его ласковый голос, который говорит мне на прощанье: «До новых встреч, Леноч!»

ГДЕ ЖЕ МЫ ВСТРЕТИМСЯ ТЕПЕРЬ С ВАМИ, ДЯДЯ ПАВЕЛ???

Мне девять лет. Первая утрата в моей жизни. Огромная. Невосполнимая. Я даже не чувствую боли – в те, первые минуты. У меня просто шок. Я деревенею. Как будто выпадаю из жизни – куда-то в не-жизнь...

Фонари меркнут, воздух утрачивает свой аромат, мы молча бредём к дому в полном мраке по хлюпающей сырости... Какая ужасная эта жизнь! Разве в ней есть хоть какой-то смысл, если всё хорошее так жутко кончается?.. Если от дорогого, любимого человека не остаётся ни-че-го...

Но разве так может быть, чтобы НИЧЕГО???

* * *

Я разыскала фотографию дяди Павла, она была у нас единственная. Я долго смотрела на него, в его смеющиеся ласковые глаза, искала в них ответа. Ответа не было. Но из глаз струилось ЖИВОЕ ТЕПЛО... Дядя Павел, где вы теперь? Отзовитесь!.. Я не верю, что вас больше нет! НЕ ВЕРЮ!!!

Я не вернула фотографию в общесемейный пакет, я спрятала её у себя, между книг, и, придя из школы, подолгу смотрела на неё. Мне не с кем было поговорить о том, что меня мучило. Да я и не могла говорить об этом, не умела. Но чувствовала, что должна принять какое-то решение. Чтобы стало легче. Хотя бы чуть-чуть...

Я написала на обороте фотографии: «Дядя Павел. Хочу быть такой, как Вы».

Я решила стать лётчиком.

Непростое решение

Не могу сказать, что это решение было таким уж простым для меня. Ведь у меня уже была мечта – до этого я хотела стать ткачихой. Мой прадед по линии моей бабушки Дарьи – Лаврентий Волконский был ткачом, и, видимо, во мне в какой-то момент заговорили гены. Бабушка радовалась моему выбору. Но сейчас, ничего никому не говоря, я круто изменила мечту.

Решив стать лётчиком, я почувствовала живую связь с дядей Павлом – я продолжу его дело. Значит, мы с ним не расстаёмся навсегда. Мы с ним встретимся в небе, когда я взлечу туда...

А то, что я взлечу туда, в этом я не сомневалась.

Хотя и понимала, что на пути к этому меня ждут большие испытания. Дело в том, что у меня от рождения был очень слабый вестибулярный аппарат: меня укачивало даже на обычных качелях-лодочках. Однажды на такой «лодочке» я вообще потеряла сознание, чем испугала бабушку, очень испугалась сама, и качелей с тех пор избегала.

Ну, что ж, подумала я, значит, буду тренироваться, время у меня ещё есть. Мне даже нравилось, что надо что-то преодолевать в себе для осуществления своей мечты.

Всё-таки уезжаем...

Но начать тренировки в Луганске я не успела. Родители решили поскорее уехать из этого города, напуганные угольной пылью. Когда растаяли чёрные сугробы и распустились зелёные листочки, они вскоре тоже покрылись угольной пылью. «Боже мой, Боже мой! а ведь мы этим дышим! Это всё у нас внутри!» – горестно восклицала мама. И бабушка очень боялась за мои слабые лёгкие.

Обе они тормозили Фёдора, чтобы он поскорее брал на работе расчёт и ехал бы искать работу в каких-нибудь других местах – с более чистым воздухом. Решили, что он поедет в Западную Украину, где много лесов. Там в городе Черновцы жила одна из бабушкиных лагерных подруг – Ирина Полоса. Она нахваливала свой зелёный, чистый город и звала нас туда. Говорила, что первое время мы сможем пожить у неё. И Фёдор уехал на разведку.

Так что мы опять сидели на чемоданах. Маме и бабушке даже не было жаль трёхкомнатной квартиры в центре города. Уезжаем – и всё тут! Надо было только дожждаться окончания моего третьего класса.

* * *

Начало лета 1960 года. На вокзале в Луганске. Ждём поезд на Днепропетровск.

Фёдор уже в Днепропетровске. Вызывал на днях маму на телефонный переговорный пункт, докладывал о разведке. Он вернулся из Черновцов злой. Да, там чистый воздух, и там есть для него работа. Но ему поставили условие: он должен вступить в коммунистическую партию. Потому что работа ответственная, и доверить её могут только коммунисту.

Фёдор в партию вступать отказался. Он приехал в Днепропетровск и ждал нас, чтобы вместе с мамой решить: что делать дальше?

* * *

Объявили посадку на наш поезд.

– До свиданья, Луганск! – говорю я.

– Не «до свиданья», а прощай! – строго поправляет меня мама.

– Почему «прощай»?

– Потому что мы сюда больше никогда не вернёмся, – сердито говорит мама.

– А мне хотелось бы...

– Мало ли чего тебе хотелось бы, – говорит мама сурово.

Значит, прощай... Мы прожили в Луганске всего полгода, но за это время успело насладиться очень много. А вот друзей я здесь не нашла.

Я уезжала из этого города, жалея о наших чудесных прогулках с Маришкой, о добрых, улыбчивых прохожих, о своём замечательном логопедом и о книжном магазине рядом с домом, где я проводила свои лучшие часы...

Лежание за ширмой продолжается

Лежу за ширмой... К еде стойкое отвращение. Мой, отравленный жёлчью организм, не хочет ничего. Точнее: я хочу только солёных помидоров, но врач сказал, что мне их категорически нельзя. Бабушка, бедная, мучается со мной.

– Съешь хоть кусочек! – упрашивает она меня с утра до вечера.

– Ну, бабушка, ну я же тебе сказала: не хочу!

– Горе ты моё луковое! Как же ты выздоровеешь, если не ешь ничегошеньки? – причитает она надо мной. – Вот Лиля скоро придёт с работы, что я ей скажу?

Всё, что ей удаётся вложить мне в рот, не доставляет мне радости. Проглатываю с трудом – только ради бабушки.

* * *

Нет дня, чтобы я не вспомнила об отце. Увижу ли я его когда-нибудь ещё? Я вспоминаю белую тропу между сугробами, на которой мы прощались – в Оренбурге, когда мне было семь лет, и отец приезжал навестить меня... Вспоминаю его сине-голубые глаза – глаза сказочного принца... И как мы расходились по этой сверкающей на солнце тропе, расходились каждый в свою сторону: я торопилась в школу, а отец – на вокзал. Он теперь живёт в Одессе, у моря... А я – в степи. Неужели я никогда его больше не увижу?

Ни его, ни дяди Павла...

Картофельный дух

...Уже летали за окном сухие степные снежинки... Новый год была не за горами, а я всё ещё лежала за своей ширмой, до ужаса исхудавшая и слабая, как осенняя муха.

Но однажды... Я вдруг почувствовала что-то необычное... Прислушавшись к себе, я с удивлением обнаружила, что ХОЧУ ЕСТЬ! Это было давно забытое ощущение. Чувство голода было таким ошеломляюще-острым, что я не могла дожидаться, пока вернётся бабушка, ушедшая с Маришкой на прогулку. Я встала и на слабых ногах, покачиваясь, тихонько побрела из комнаты на кухню...

В кастрюльке на плите я обнаружила тёплое картофельное пюре. Оно было пушистое, светло-золотистое и источало такой нежный, совершенно волшебный аромат, от которого у меня закружилась голова...

Я не стала перекладывать пюре на холодную тарелку, а взяла эту тёплую, ласковую кастрюльку, поставила перед собой на стол и стала есть прямо из неё, большой ложкой. Никогда не забуду вкус этого пюре. И этот чудный аромат. Хотелось уткнуться головой прямо в кастрюльку и вдыхать, вдыхать, вдыхать...

Я отломил ломоть ржаного хлеба, с хлебом оказалось ещё вкуснее. Ничего и никогда я с таким наслаждением не ела. С каждой ложкой этой восхитительной еды я чувствовала, что крепну, как в сказке.

И в ту минуту поняла, что я – ВЫЗДОРАВЛИВАЮ! И мне стало хорошо и радостно...

Ёлка по имени сосна

В начале декабря болезнь жёлтого цвета, наконец, покинула меня. Я даже походила немного в школу. И собрала там урожай хороших отметок. Учительница удивилась: как мне удалось не отстать от одноклассников за столько месяцев болезни? Просто мне слишком легко всё давалось, так что моей особой заслуги в этом не было.

Мама с гордостью говорила: «У тебя моя голова!» А ещё она любила вспоминать: «Когда ты родилась, врач, который тебя принимал, такой пожилой, опытный, даже удивился, какая ты головастая. Сказал: надо же, никогда ещё таких головастых не видел! Видно, умной будет!»

Мама любила вспоминать этот знаменательный эпизод нашей общей жизни, и слова этого врача доставляли ей утешение. Но в душе она, конечно, очень переживала: что вот головастая-то головастая, но не всё так уж радужно.

В Вольногорске её переживания из-за меня особо обострились: ведь тут вокруг были друзья её молодости, и у всех были НОРМАЛЬНЫЕ дети. А её за что-то Бог наказал странным ребёнком. Поэтому мои пятёрки маму очень радовали, она в них нуждалась больше, чем я: они доказывали, что я всё же не хуже других детей. Ну, не особо хуже...

* * *

К Новому году папа Федя привёз откуда-то огромную ёлку – вернее, сосну. Потому что ёлки в этих краях не растут, но зато растут сосны – где-то в лесхозе.

Сосна была под самый потолок! Фёдор установил её в большой пустой комнате (из которой, наконец, были убраны моя кровать и ширма), и мы с мамой красавицу-сосну украсили.

Позвали девочек – двух Ань, Ларису и ещё кого-то, уже не помню. И были всякие игры, и знаменитый бабушкин рулет с маком. Было весело, и только изредка острая боль в правом боку напоминала о недавней желтухе...

Весной в балке

Снега почти нет, только в каких-то рытвинах и в тени кустов. Теплынь... солнышко... небо без единого облачка.

ЗЕМЛЯ – СИНЯЯ ОТ ПОДСНЕЖНИКОВ!.. Это поразило и запомнилось на всю жизнь. Поразило так сильно, как если бы я попала в сказку.

ЗЕМЛЯ, СИНЯЯ ОТ ПОДСНЕЖНИКОВ!..

7 марта 1961 года. Мы всем классом пришли в балку за цветами для наших мам – к зава-трашнему женскому празднику.

Забыв на время о цели нашего похода, все ребята играют «в Чапаева». Аня-большая – Чапай, в своей серой каракулевой шубке, накинутой на плечи – как бурка у Чапаева. Аня-Чапай бежит по кособогу, размахивая прутиком-шашкой, а за ней – её бесстрашное войско. Это – «красные». А где же их враги – «белые»? Что-то их не видно, наверное, все в страхе разбежались. «Белые» всегда должны в страхе бежать, а «красные» их побеждать. Всё должно быть по правде: как было в жизни. По крайней мере, как показано в фильме «Чапаев».

Игра «в Чапаева» – одна из игр нашего детства. В стране давным-давно победили «красные», но дети продолжали сражаться с воображаемыми «белыми», и каждое новое поколение советских детей безжалостно «белых» побивало.

Я не играю. Сажу на синем пригорке и дышу весной...

Помню, помню, как пахла сырая весенняя земля и эти небесные цветы!..

Полёт Гагарина

Был серенький, скучный апрельский денёк, я стояла на школьном дворе, в раздумье: идти ли мне домой, чего очень не хотелось, или поболтаться ещё на спортплощадке? И тут мимо пробежала девочка из нашего класса, Ася Шевченко, и радостно прокричала:

– Человек полетел в космос! Юрий Гагарин!..

В первую минуту мой мозг отказывается вместить это. Пытаюсь переварить и – не могу. Полетел в пустоту?.. Как это???

В следующую минуту столбняк сменился оглушительной радостью, безумным, распирающим восторгом. Хотелось орать, прыгать, беситься... Что мы и делали на школьном дворе, в маленьком степном городке, 12 апреля 1961 года, в том самом городке, где добывался титан для обшивки космических кораблей. И мы, подростки, чувствовали свою причастность к Сверхшившемуся!..

Да, это было оглушительно! По ощущениям – как выход в другое измерение. Это и был выход в другое измерение. Всё человечество в тот день вместе с Юрием Гагариным вышло в другое измерение.

И всё равно непонятно: КАК ЭТО ОН ПОЛЕТЕЛ ТУДА??? КАК ЭТО???

И как же он там теперь – в космосе?

– Да он уже вернулся! Уже приземлился! – кричит радостно кто-то.

Как, уже??? Так быстро?..

И как мы теперь будем жить после такого грандиозного события – я, наша семья, мои друзья, весь мир?.. Наверное, мы все должны как-то измениться. Конечно, в лучшую сторону. Ведь ПОСЛЕ ТАКОГО нельзя жить по-старому.

И вдруг – острое, пронзительное чувство: мы, люди земли, всё человечество, – мы все один народ. Мы все – РОДСТВЕННИКИ! У нас одна на всех национальность – ЗЕМЛЯНЕ. Нам не из-за чего ссориться, не из-за чего воевать. И я уверена, что больше никогда не будет газовых камер, не будет Маутхаузена и Освенцима...

А иначе что о нас подумают эти бесчисленные звёзды, планеты, галактики?.. Я смотрю вечером в сияющее звёздами небо – и мне кажется, что небо улыбается мне. Всем нам.

Так уже было несколько лет назад, в Оренбурге. Тогда все жители нашего большого дома выбежали ночью во двор, и дети тоже, и все вместе наблюдали за полётом первого искусственного спутника... Светящаяся, яркая точка упорно и довольно шустро двигалась по чёрному небу – и всем людям, стоящим вокруг меня, и мне самой от этой малости – от этой яркой точки на небе было так празднично на душе! И люди вокруг казались все родными, и небо – близкое и родное, и все галактики с их жителями – как будто соседи по лестничной площадке. Вот, скоро будем летать друг к другу в гости!

А какая потрясающая улыбка у Юрия Гагарина! Вся наша планета Земля сразу влюбилась в него. И новорождённых мальчишек стали называть Юрами. А где-то в Африке (как писали газеты) мальчика назвали просто – Гагарин.

Люди, в какое удивительное время мы живём!..

О наших родителях и наших идеалах

Наши родители целыми днями «горели на работе». Ведь родители наши были молодыми романтиками, они приехали в эту степь не носы своим отпрыскам подтирать, а строить город и комбинат. Работа была на первом месте не только у отцов, но и у матерей. И на втором, и на третьем месте была работа, работа, работа... Такое было время: так жил наш город, так жила вся страна. Все мамы работали.

В Вольногорске из маминых знакомых «не горела на работе» только одна, и её за это не уважали и даже презирали. То, что эта женщина посвятила себя дому и семье, называлось страшным словом – «мещанство». Мама моя говорила: «Не могу себе представить, что вот я встаю утром и начинаю вытирать пыль... Целый день хожу по дому в халате и вытираю пыль! Не представляю, чем Лиза живёт?.. Как можно не работать?»

Я слушала маму и думала: действительно, какой ужас – целыми днями вытирать пыль! А ведь тогда было именно такое представление о неработающей женщине: что она целыми днями вытирает пыль.

Так вот: мы, старшие в семьях дети, полностью отвечали за младших. Родители доверяли нам – а кому же ещё? Наверное, поэтому девочки с десяти лет чувствовали себя совершенно взрослыми. Мало того, что нас самих никто не караулил и не выгуливал, мы караулили и выгуливали своих младших, для которых мы были мамами в гораздо большей степени, чем наши работающие мамы. Утром мы отводили их в детский сад, а вечером приводили домой, и пока родители на работе, обязанностью старших было поиграть с младшим, погулять с ним, почистить ему книжку.

Помню, как мы с Анечкой пришли к Ане-большой, а у неё заболел младший брат Вова, и она очень ловко управлялась с ним, без всякой паники, как опытная мама.

Собственно, мамы только укладывали младших спать. А у старших спрашивали: «Как дела в школе? Всё в порядке?»

Кто же нас воспитывал тогда? Так они же и воспитывали – наши родители, одержимые своим делом. Для них деньги – не важно, барахло – не важно, вообще, быт, разговоры на бытовые темы – низменно, презираемо, всё это – мещанство. Главное – Дело, Работа! И работать надо не за деньги, конечно, а на совесть. Честность была на пьедестале. «Кристально честный человек!» – это была высшая оценка человеческого качества. Таков был дух времени. И особенно этот дух ощущался в нашей степи, где собрались молодые и одержимые.

Так что мы, подростки, поневоле пропитывались идеалами наших родителей. Нас воспитывало само время. Мы росли романтиками и идеалистами.

А потом пришло лето...

А потом опять пришло лето, жёстко-знойное и пыльное. И этот всегдашний ветер!.. Летом он особенно неистовый. Он обжигает лицо, колет глаза и забивает лёгкие сухим жаром...

Не представляю, как можно работать на стройке – под этим огненным, безумным солнцем?.. А ведь почти все жители города работают на стройке. Народ на улицах такой загорелый, как будто все только что приехали с курорта.

Наши игры летом – лазанье по чердакам (о, зачем я сидела на этой трубе, обмотанной стекловатой?!) Ну, всякие там игры с мячом и скакалкой, «классики»... Дня не хватит, чтобы во всё переиграть. Скучать некогда.

Прогулки в степь – блуждания по океану ветра... Походы в балку (единственное прохладное место в жару), и вообще таинственно, а главное то, что мы уходим сюда, никого не спрашиваясь, мы – взрослые, свободные люди.

* * *

...А за домом цвели в густой жаркой траве маленькие белые вьюнки... Их запах, томительно-сладкий, доводил меня почти до слёз. Я любила сидеть в этих травах, уходила сюда одна, здесь так хорошо было грустить – неведомо о чём...

Курган

А ещё я любила ходить на курган. О, какой здесь всегда ветер!.. Ветер!..

Одинокий курган за городом. На вершине его – железный треножник. Он называется «топографический». Такие треножники ставят на разных высотах – например, на высоких горах в Крыму. Наш курган – наша местная гора. Маленькая, единственная, любимая.

Если сидеть на том склоне, который смотрит в чисто поле, то кажется, что ты вообще одна на земле – среди жёлтых и зелёных трав, среди терпких запахов полыни и выгоревших на диком солнце васильков, среди оглушающего, жаркого стрекота кузнечиков...

Здесь точно очерчен круг, и всё суетное, преходящее, неважное – остаётся за этим кругом. А всё, что внутри круга – вечное, полное загадок и тайн... Здесь, в этих пыльных ложбинах, как в морщинах, притаилось другое – ПРОШЛОЕ – время.

Не нужно делать никаких усилий, чтобы оказаться в прошлом. Просто прижаться щекой к этой горячей (древней!) земле, вдохнуть поглубже дурманящий (древний!) запах, настроить свой слух на древнюю музыку маленьких музыкантов, притаившихся в жёлтой, горячей, шелестящей траве... И ты – уже в ПРОШЛОМ.

Мы, подростки, вообразили, что наша маленькая любимая гора – это скифский курган. А не просто «топографическая точка», как нас уверяли взрослые. Да, это древний скифский курган!.. Так нам хотелось думать. Так мы его ощущали.

И даже не подозревали тогда, что наша фантазия окажется реальностью. Но это выяснится только много лет спустя, когда я уже уеду отсюда.

Придут в нашу степь археологи, безжалостно раскопают нашу маленькую ветреную, стрекочущую, шелестящую гору – и возликуют: да это же древний скифский курган! И столько всего они нароют тут для своих музейных коллекций!

И Аня-маленькая с грустью напишет мне в письме: «Нет больше нашего кургана...»

Но тогда он БЫЛ! И это было моё любимое, заветное место.

Наш сад

Да, мы взяли весной участок земли за городом и посадили там пару тонких вишенок и несколько грядок клубники. Теперь я хожу пропалывать эти грядки и каждый вечер поливаю их – потому что жара жуткая, и земля очень быстро пересыхает.

Ну вот, у нас теперь есть свой сад. Как бы сад... Но, оказывается, ничего романтического в этом нет – когда ещё вырастут наши вишенки?.. Когда ещё под ними можно будет спастись от жары? Ах, как это было бы хорошо: сидеть в тени ветвей с книжкой в руках...

А пока – сиди на клубничной грядке под палящим солнцем и выщипывай сорняки! Я раньше никогда этим не занималась. Это похоже на то, как бабушка ощипывает курицу, принесённую с рынка.

Бабушка радуется, что у нас скоро будет своя клубника, и мы с Маришкой наконец-то наедемся ею от души. А мне этой клубники уже не хочется. Слишком жарко она мне достаётся. Я ненавижу жару! В жару я мечтаю об осенних дождях...

Сижу на корточках на раскалённой грядке, как рыбёшка на сковородке, выдергиваю жирные сорняки с мясистыми белыми корнями и мечтаю о прохладных дождях... Которые когда-нибудь польют... и охладят мою голову...

Улица, по которой я хожу в наш сад, называется Степная. В Вольногорске каждую улицу можно было бы назвать таким именем, ведь все улицы выходят в степь. По какой улице ни пойдёшь – непременно в степь попадёшь...

Хуторяне

Меня очень огорчало, что названия нашего города нет на карте. И наша железнодорожная станция называется вовсе не «Вольногорск», а «Вольные хутора». Эти «хутора» лично меня унижали и возмущали.

– Мама! Выходит, что мы – какие-то хуторяне? Кошмар какой-то!

– Что поделаешь, мы живём в засекреченном городе, – сказала мама.

Вот тогда я первый раз это и услышала: «засекреченный город». Ну, если засекреченный – тогда другое дело. В этом была своя романтика...

Так мы – засекреченные от большого мира «вольные хуторяне» – и жили в своей продутый всеми ветрами степи... На своём выжженном солнцем плоскогорье...

Жили одной большой семьёй. Одним хутором!

Друзья: Козловы и Попельницкие

Козловы в Вольногорск приехали из Сибири, хотя они оба, и Софочка, и Лёва, родом из Днепропетровска, а в Сибирь ездили на большую стройку. Козловы очень славные люди, приветливые и весёлые. С ними легко. Я люблю весёлых, лёгких по характеру людей. Я и сама хотела бы быть такой.

Софочка, жена Лёвы, говорит, что с Лёвой совершенно невозможно поссориться, хотя бы ненадолго – чтобы потом помириться. Именно ради этого! Чтобы узнать: как это бывает у других людей? Она говорит об этом почти с обидой, а все смеются, и она сама тоже.

Софочка очень красивая – стройная, черноглазая и курчавая. А Лёва не особо стройный и уже лысый, но тоже красивый. У него главное – это глаза. Его карие глаза большие и тёплые, добрые и почему-то всегда печальные, даже когда он смеётся. Мама говорит: «У Лёвы типично иудейские глаза».

Ещё мама говорит, что самые добрые и самые надёжные люди – это евреи, и семьи у них самые крепкие, и мужья самые заботливые, и дружить они умеют, как никто другой: всё для тебя сделают и никогда тебя не предадут. Потому что сильно пострадали и умеют ценить – жизнь, семью, дружбу. Мама говорит, что до войны в Днепропетровске и Новомосковске жило много евреев. А теперь их почти не осталось – фашисты многих уничтожили. Мама говорит, что всегда дружила с евреями – и в школе, и в институте. И здесь, в Вольногорске, её самой задушевной подругой стала Софочка.

Козловы живут в соседнем доме. У них есть дочка Лена, младше меня на год, и сын Саша, старше нашей Мариши на год. С Козловыми живут Лёвины родители, совершенно чудесные, улыбочивые старики. Когда я прохожу мимо их подъезда, где они часто сидят на лавочке, они мне всегда улыбаются и говорят какие-нибудь хорошие слова. Какие же они все счастливые, эти Козловы, – думаю я. Они ведь и друг другу говорят только хорошие слова. Они других слов, наверное, и не знают...

Надо сказать, что мама передала мне эту эстафету – всю жизнь среди моих самых близких друзей – прекрасные люди с добрыми и печальными иудейскими глазами...

* * *

А над Козловыми, этажом выше, живут ещё одни наши друзья – Попельницкие, Володя и Лида, с сыном Павликом. Попельницкие тоже очень хорошие люди. Дядя Володя поляк, и мою маму с ним роднит польская кровь, она ведь тоже по отцу – полька. А Фёдор как-то проговорился, что его мать вовсе не украинка, а румынка. Во как!

Мне нравится, что все мы тут, в Вольногорске, такие разные и, вместе с тем, абсолютно родные. Я же говорю: у нас у всех одна национальность – ЗЕМЛЯНЕ!

Жёлтые воды

У Козловых есть машина. Да не какая-нибудь, а «Волга».

Во всём нашем городе только две частные легковые машины. Тогда, вообще-то, это была большая редкость, чтобы у человека была машина. На машину люди зарабатывали порой всю жизнь и стояли годами в очереди, чтобы её купить. Ну, или надо было ехать куда-нибудь в Сибирь или «на северА», где были повышенные зарплаты, и там можно было прилично заработать. Что Козловы и сделали. Уж очень дяде Лёве хотелось возить своё семейство на машине! Там, в Сибири, её и купили. Там очередь шла как-то побыстрее.

* * *

Иногда дядя Лёва зовёт нас всех в воскресенье куда-нибудь прокатиться.

И вот мы набиваемся плотно-плотно в их широченную «Волгу»! На переднем сидении – Лёва и Фёдор, а на заднем – наша мама, Софочка, Попельницкие и пятеро детей! Как мы там помещались – непостижимо. Однако, помещались. Дети, не считая меня, были ещё мелкие, а родители – молодые и худые. (Им было всем около тридцати лет, кому-то чуть больше).

И вот набиваемся мы в «Волгу» – и катим на берег Днепра! Иногда на целый день...

Или едем в какой-нибудь ближайший городок – просто прогуляться. Весело катим по нашему степному плоскогорью... По совершенно пустому шоссе...

* * *

Если от Вольногорска ехать на запад – то через полчаса приедешь в старинный город с необычным названием: Жёлтые Воды. У него есть и второе название – Жёлтая Река, а местные жители ласково именуют его Жёлтой Речкой.

Здесь в земле очень много разной руды, особенно железной и медной, а ещё урановой. От этого этот город тоже сильно засекреченный. Залегают руды совсем не глубоко. Наверное, от этих руд вода в местной речке – ярко-жёлтого цвета, вроде апельсинового сока...

Город Жёлтые Воды небольшой, но исторически известный. Здесь в 17 веке войска запорожских казаков и русские войска разбили поляков. Об этой битве написано во всех учебниках истории, и местные жители очень этим гордятся.

Войском запорожских казаков командовал Богдан Хмельницкий. Это был знаменитый гетман, вояка, сильный и умный человек, он возглавил освободительную войну против польского гнёта – чтобы не стать украинцам католиками. Но сами украинцы справиться с поляками никак не могли и очень просили помощи у России. Речь Посполитая в то время была большим государством, которое распространилось и на Правобережье, и на Левобережье Днепра. Собственно, вся нынешняя Украина с Киевом, и Белоруссия, и Литва были тогда в составе Польши.

Три раза писал запорожский гетман русскому царю просьбы: чтобы тот взял украинцев под своё крыло, принял бы их под своё подданство. Так что пришлось русским вступить за православных украинских братьев. И была из-за этого не маленькая война с Речью Посполитой, не один день она длилась...

А потом произошла битва у Жёлтых Вод – решающая.

Вот здесь, где мы сейчас прогуливаемся, рубились не на жизнь, а на смерть люди – только за то, чтобы сохранить свою православную веру, свои песни и легенды, и жить по своему уму. Как раз здесь, у Жёлтой Речки, запорожцы, вместе с русскими, поляков и победили, уже окончательно.

А потом русский царь Алексей Михайлович и Богдан Хмельницкий объявили о воссоединении Украины с Россией. И было это триста лет назад... Хотя Украины тогда ещё не было, а была Малая Русь. (Это Ленин потом назвал Малую Русь Украиной).

И была великая радость в народе. Семья православных славян воссоединилась. Опять вместе! И вернулся древний русский город Киев – домой, в Россию. Как его издавна называют – «мать городов русских». Но лучше, мне кажется, сказать: отец. А мать – это, конечно, Москва.

Для украинцев Богдан Хмельницкий – национальный герой.

В центре маленького, зелёного городка стоит большой памятник знаменитому гетману, его совсем недавно установили. Такой суровый, усатый казак, в полный рост, смотрит строго и напряжённо. Но врагов в округе не видать. Только высокие лопухи по берегам Жёлтой речки...

* * *

Забавно, что когда через много лет я буду поступать в московский институт, я вытаску на экзамене по истории билет именно с этой битвой – у Жёлтых Вод.

«Была я в этих Жёлтых Водах», – скажу небрежно, как бы между прочим. А экзаменатор страшно удивится и обрадуется: как будто я – свидетельница той исторической битвы! Или даже её участница. Он так и накинется на меня с расспросами! Оказывается, эта битва была темой его диссертации.

Да, была я в этих исторических Жёлтых Водах – тихое, провинциальное, заросшее лопухами местечко...

Если сесть на электричку...

Если на нашей станции сесть на электричку и поехать на восток – то через три часа приедешь в Днепропетровск. Что мы иногда с бабушкой и делаем.

По дороге в Днепропетровск мы проезжаем Днепродзержинск – очень страшный город. Сплошные трубы, трубы, трубы... – высоченные, чёрные, похожие на густой, обугленный пожаром корабельный лес... Из этих труб в небо вырываются разноцветные дымы – как будто дыхание взбесившегося от злости змея-горыныча (целой своры горынычей)!

Такие длинные, извивающиеся, дымно-огненные языки – ядовито-оранжевые, траурно-чёрные, иступлённо-красные, тоскливо-лиловые, густо-серые... Жуть! Наверное, такие же трубы были в крематориях, в Освенциме – бабушка много раз рассказывала. И каждый раз, когда мы проезжаем Днепродзержинск, я вспоминаю крематории Освенцима...

Но здесь – не скопище крематориев, это – просто-напросто заводы: металлургические, коксо-химические, цементные... Одним словом – полезная стране промышленность. Но вонь от этой полезной промышленности такая, что пассажиры в проезжающих поездах спешно закрывают окна.

А ведь кто-то выходит в этом городе и живёт тут! И работает на этих страшных заводах. И дышит всю жизнь этими лиловыми и серыми, рыжими и чёрными дымами... От этих дымов в лёгких у человека должен быть сплошной крематорий! Я не знаю, как долго живут в этом городе люди. Мне кажется, здесь жить нельзя – здесь можно только умирать...

Экологи называют Днепродзержинск городом экологического бедствия. А ведь тут у кого-то рождаются дети!..

Мы на этой станции не сошли ни разу. И я ни разу не была в этом страшном городе, хоть и жили мы с ним по соседству, в часе езды.

* * *

...А потом мы приезжаем в чудный, зелёный Днепропетровск, где привокзальная площадь встречает нас клумбами с душистым белым табаком и красным львиным зевом...

Да, это тоже большой промышленный центр, но заводы где-то далеко, я ни разу ни одного не видела.

А мой Днепропетровск – это старый, уютный город, где наша Философская улица засыпана сладкой шелковицей, где в цирке дают новое представление, где на тенистом бульваре – старинный, с деревянной резьбой, павильон «Мороженое». Бабушка обязательно ведёт меня

в этот павильон. Это у нас традиционный «выход в свет». А иногда и в цирк ходим, если достанем билеты.

А на следующее утро отправляемся в Васильевку...

Васильевка

Сколько себя помню, каждое лето мы с бабушкой ездим в Васильевку. Иногда на целый месяц, иногда – на пару дней. Как получится.

Для того, чтобы попасть в Васильевку, нужно прийти на Озёрку – на наш, знаменитый на весь Днепропетровск, базар. Отсюда в окрестные сёла отправляются «пассажирские» грузовики. Не помню, когда появились автобусы, помню только эти крытые брезентом грузовики. Внутри кузова, от борта до борта, лежат длинные доски – скамьи для пассажиров.

Давка каждый раз на этот «элитный» транспорт ужасная – орудие краснощёкие бабы с пустыми корзинами и полными кошёлками (одно на базаре продали, другое – купили), все прут в кузов, как сумасшедшие, как будто это последний в их жизни грузовик – последний грузовик перед концом света... «Ребёнка не задавите! Христа ради ребёнка не задавите!» – кричит, срываясь на слёзы, моя бабушка, пытаюсь запихнуть меня в кузов – между толстых потных тел и царапающихся грязных корзин...

Наконец, все в кузове. Сколько бы народу не было – влезут все: кажется, что грузовики эти – резиновые. Так что можно было и не орать, и не отшвыривать друг друга красными лапами. «Давай, поехали!» – кричат бабы водителю. – А то не успеем борщ приготовить к обеду!»

Выезжаем за город... И тут начинаются «американские горки», о которых мы никогда не слышали, но на которых поневоле лихо катаемся. Грузовик на колдобинах и рытвинах подкидывает так, что густая грязная пыль со дна кузова подлетает до брезентового потолка, а деревянные доски-скамьи со всеми пассажирами и их скарбом – с грохотом слетают на пол!.. Вопли, крики, ругань!.. Кого-то придавило, кому-то что-то защемило, у кого-то расплющило кошёлку с продуктами... Жуткий запах пота и нагретого на солнце брезента, в горле и в глазах резь от пыли...

«Господи, чтобы я хоть раз ещё поехала!» – причитает бабушка, крепко прижимая меня к себе, потому что при каждом прыжке грузовика меня, как мячик, сильно подбрасывает кверху. «Господи, это же сущий ад, а не езда... – шепчет бабушка. – Нет, живыми мы в этот раз не доедем. Ей Богу, не доедем...»

* * *

Но, как ни странно, мы доезжаем живыми. Каждый раз это переживается бабушкой как чудо. Совершенно очумелые, вылезаем из душного, раскалённого, как духовка, кузова. И – с наслаждением вдыхаем чистый, парной воздух... Такого вкусного воздуха, как в Васильевке, нет больше нигде на свете.

Скидываем обувь и, утопая по щиколотку в горячей, рассыпчатой, нежной пыли, тихо, блаженно бредём на другой конец огромного села...

Васильевка – бабушкина родина. Здесь бабушка родилась, здесь живут её старшие сёстры, Матрёна и Ефимия (я их называю: бабушка Мотя и бабушка Хима). Живут здесь и многочисленные бабушкины племянники – родные, двоюродные и внучатые. Они же – мои дяди, тёти, троюродные братья и сёстры. Куча родни!

Васильевка – очень красивое село на берегу Самары. Когда-то Самара была в этих местах широкой и полноводной, но сейчас это неширокая речка, хотя местами по-прежнему глубока. На другом берегу – дубовый лес, полный цветов, задумчивого непрерывного кукования кукушки и дивных, волшебных ароматов... Такого сказочного леса, как в Васильевке, я никогда больше нигде не видела. Я думаю, что он один такой во всей вселенной – в моей памяти...

Когда-то я думала, что наша Васильевка – это та самая Васильевка, которую любил и описывал в своих книгах гениальный писатель Николай Гоголь. В Васильевке у него было маленькое «имение» – беленькая хатка под соломенной крышей. И я гордилась тем, что моя бабушка

и Гоголь – земляки. Я как-то спросила бабушку, когда мы шли с ней по Васильевке: «А где тут хата Гоголя?» Бабушка весьма удивилась моему вопросу. Оказалось, наша Васильевка – это совсем не та Васильевка, что у Гоголя.

Сначала я огорчилась, а потом подумала: ну что ж, у него – своя Васильевка, а у нас – своя. Но любить нашу Васильевку меньше я от этого не стала.

* * *

Мы останавливаемся всегда у бабушки Моти – в глиняной, белёной хате, крытой почерневшей от времени соломой. Эта хата – «родовое поместье» семьи Волконских. Правда, сейчас эта хата в два раза больше, чем была когда-то. (Не помню уж, кто её достраивал и когда).

А в пору бабушкиного детства хатка была совсем маленькая: тёмные, тесные сенцы, кладовая с крошечным, подслеповатым окошком, кухонька с русской печкой и небольшая комната. Вот и всё «поместье». И мне удивительно, как здесь могла помещаться вся их большая семья: отец Лаврентий (мой прадед), мать Параскева (моя прабабка), старенький дедушка на печи и семеро детей: два сына и пятеро дочерей. Хима была старшей, она родилась в далёком девятнадцатом веке, да и пятеро других детей тоже, и только моя бабушка, которая была самой младшей, родилась в самом начале двадцатого века.

И так же, как в пору бабушкиного детства, под окошками хаты цветут розовые и тёмно-вишнёвые мальвы, с нежным, сухим запахом...

Нынче, кроме бабушки Моти, в родовом гнезде живут только её дочь Зоя и внук Мыкола, он же – Николай. Тётя Зоя работает в колхозе птичницей. Она ровесница моей мамы, ей тридцать с небольшим, но она очень замучена работой и выглядит лет на двадцать старше своих лет. Мыкола – тёти-Зоин сын, то есть мой троюродный брат, на два года старше меня. Это молчаливый подросток, он смотрит на меня исподлюбя, почти враждебно – как на пришлицу из другого мира. Я – городская, другая, чуждая ему, со мной не о чём говорить. Дружбы у нас с ним не получается. Да я почти и не вижу его никогда – он целыми днями носится где-то с пацанами.

Отца у Мыколы нет, много лет назад он уехал на север на заработки – и сгинул, пропал где-то. Тётя Зоя погоревала-погоревала – и смирилась с долей «соломенной вдовы».

* * *

...И как только мы с бабушкой приезжаем, тут же из хаты, что через дорогу, семенит, опираясь на кривую палочку, согнутая в три погибели старенькая бабушка Хима – старшая бабушкина сестра. У них разница в возрасте ровно двадцать лет. Моей бабушке Дарье – шестьдесят, а Химе – уже восемьдесят. От всей семьи Волконских их осталось только три сестры: Дарья, Матрёна и Ефимия. (Евхимия).

Бабушку Химу я помню только такой – согнутой в три погибели. Говорят, она была в молодости высокой и стройной, но мне трудно это себе представить. Бабушка Хима маленькая и худенькая, высохшая, как кузнечик. На голове – белая хустка (косынка), на ногах – чёрные черевички. Черевички – это такие страшные, заскорузлые тапочки, сделанные как будто из железа. Здесь, в селе, все в таких ходят, да и то, когда в гости, или в магазин, а так – до самой зимы – босиком. И пятки у всех – потрескавшиеся, как сухая земля («порёпаные», как говорит бабушка Мотя). Никакой другой обуви мои сельские бабушки не знают. Никакой другой жизни не видели.

Например, бабушка Хима никогда не была в городе, не видела многоэтажных домов, не представляет, как в доме может течь из крана вода, да к тому же не только холодная, но и горячая. Здесь, в селе, даже электричества в хатах до сих пор нет! И на улицах тоже. Ночью светят только звёзды... Село большое, и где-то на другом конце (там, где колхозное правление) – там электричество провели. Но до нашего конца села не дотянули. Тётя Зоя говорит: «То ли столбы кончились, то ли провода...»

Так до сих пор и живут с керосиновыми лампами. И радуются, когда керосин в магазине есть. Но есть он не всегда.

* * *

У бабушки Химы удивительно добрые, грустные голубые глаза, которые смотрят как будто из вечности... Я бабушку Химу очень люблю. Когда я её вижу, мне всегда хочется плакать: начинает щипать в носу, а в глазах появляется пелена, мешающая видеть всё отчётливо. Бедная бабушка Хима, как же обошлась с тобой жизнь! Как она всё из тебя высосала – все соки! И сколько я помню, бабушка Хима просит Бога: «Господи, забери меня отсюда! Сколько мне ещё мучиться на этом свете? Чем я Тебя прогневила, Господи? Почему Ты не посылаешь мне смерть, не забираешь меня к Себе?..»

Бабушка Хима совсем не боится смерти, она её ждёт, желает её – как рая, как блаженства... Её настрадавшейся душе и измождённому телу хочется отдыха.

Не забыть...

Эта картинка стоит у меня перед глазами – и никогда её не забыть...

Вот они садятся на крылечке нашей хаты – в которой они все родились когда-то – три старенькие сестры, три вдовы, и начинают вспоминать свою жизнь... И эти воспоминания – как поминания... А я слушаю их и думаю: сколько же всего тяжёлого и страшного вместила их жизнь!..

Они вспоминают Первую мировую войну, которая унесла их старшего брата Николая и Химиного мужа, и Хима осталась одна с четырьмя детьми. А следом за войной – революция, и – полная разруха жизни. Всё полетело в тартарары... Умерла мать, которая была ещё совсем не старой. А потом – голод, супчики из лебеды, страшная эпидемия тифа, моя бабушка еле выжила тогда. Говорит, что замуж за Яшу шла в косыночке – потому что волосы после тифа никак не отрастали...

А эта безумная гражданская война! Жуткая, бессмысленная мясорубка, когда людьми, как говорит бабушка Хима, «овладел бес»... Набеги на село махновцев и других банд, разных «синих» и «зелёных», отбирали всё, что не успели отобрать другие. Погиб от бандитской руки второй брат, Сергей, который не хотел воевать ни за «красных», ни за «белых» – не хотел участвовать в этом безумии, не хотел убивать. И за это убили его самого... А самую близкую подругу моей бабушки увёз Махно. «Очень красивая была, – говорит бабушка. – Больше мы её не видели... И это – не единичный случай. Крали девушек и молодых женщин, как в древние, дикие времена. Заходили в хату и, если дивчина приглянулась, – тут же уводили. Если упиралась, – тащили за косы, били нагайками. А если кто из родных пытался её отбить, или вымолить со слезами, с теми разговор был короткий – пуля в лоб».

А потом от туберкулёза умер Яша, о котором моя бабушка плачет до сих пор, хотя прошло уже почти сорок лет... А потом – коллективизация, отобрали в пользу государства даже то малое, что оставалось: всю живность, до последней курицы... А потом – страшный голод тридцать третьего года, когда люди доходили до людоедства... Умер от голода их старенький отец Лаврентий, умерла сестра Евгения...

Село наполовину опустело, в некоторых хатах ни одной живой души не осталось. И убежать из этого ада было невозможно: ведь у колхозников не было паспортов – паспорта им не выдавали. Колхозники были «приписаны» к колхозу – как рабы, как когда-то крепостные крестьяне были приписаны пожизненно к «своему» помещику... Так и жили: в своих родных хатах – но как будто в тюрьме. В одной большой тюрьме...

А потом – Отечественная война, она же – Вторая мировая, и опять голод, и всё те же супчики из лебеды, и сборы с рассвета до заката колосков на колхозных полях («Всё для фронта, всё для победы!»). А дома в это время дети пухли от голода, но за один припрятанный колосок грозил расстрел... И опять – страшные похоронки: на Мотиного мужа, на старшего сына Химы... И всю жизнь – этот каторжный труд, с рассвета до заката... Без зарплаты. Ну, точно как рабы! Ведь работали колхозники не за деньги, а за «трудодни». «Трудодни» отмечались галочками в тетрадке у бригадира. Потом на эти галочки-трудодни выдавали муку и какую-нибудь крупу. Если, конечно, было что выдавать. И ещё керосин. Опять же – если был. Но даже если ничего за трудодни не выдавали, – всё равно народ с зарёй выходил на работу. Потому что невыход на работу карался как преступление. Даже опоздать было нельзя!

Да, помню-помню, мама мне рассказывала: за опоздание на работу, всего на несколько минут, можно было угодить в тюрьму! Это ещё при Сталине... Даже кормящим матерям не делали скидок. Мне было всего два месяца, а мама уже должна была выйти на работу. Такой был закон. Мама была молодым специалистом, и, родив меня, должна была вернуться на производство.

Я осталась на попечении бабушки. В обеденный перерыв мама (на двух трамваях, с пересадкой) приезжала меня покормить. Покормит, сцедит молоко для следующего кормления – и тут же бегом на трамвай – обратно на работу: не дай Бог опоздать! А сама поесть никогда не успевала: жевала на обратном пути бутерброд со смальцем (такая белая замазка, заменитель несуществующего масла).

Но на селе всё было ещё суровее, ещё голоднее, ещё страшнее...

И так они вспоминают свою безрадостную жизнь, три мои любимые бабушки, и ничего-то светлого не было в этой жизни, кроме далёкого детства...

Можно сказать, что всю отечественную историю, без прикрас, я постигала тут – на этом покосившемся крылечке в Васильевке...

* * *

А в беленькой хате – земляные, как и сто лет назад, полы. Они устланы пёстрыми домоткаными половиками. В хате, как и по двору, ходят босиком.

В «красном» углу – несколько потемневших от времени икон. Они украшены красивыми вышитыми рушниками. Рушники – это такие украинские национальные полотенца домашнего изготовления – длинные, из белого полотна, вышитые по краям мелким крестиком: красно-чёрный яркий орнамент. На каждом рушнике – свой узор: украинцы любят вышивать цветы и красных «пивней» – то есть петухов.

Бабушка говорит, что раньше каждая девушка на селе должна была уметь вышивать рушники. Вышивкой украшали и одежду – белые рубахи, юбки, фартуки. Во всех украинских вышивках непременно присутствуют два цвета: красный и чёрный. Красный символизирует любовь, радость, а чёрный – скорбь, печаль. Так что, имея только два клубка ниток – красный и чёрный – можно вышить на полотне всю человеческую жизнь...

* * *

Ещё в хате много фотографий на стенах. В селе не принято прятать фотографии в альбомы – они все должны быть на виду. На эти фотографии бабушка Мотя смотрит почти с таким же благоговением, как на иконы. Многие из фотографий – пожелтевшие, помятые, присланные с разных фронтов – с разных войн: вот Николай Волконский, брат моих бабушек, вот брат Сергей – такие оба красивые... Оба брата погибли молодыми, не успели ни жениться, ни родить детей. Поэтому и кончилась фамилия Волконских. Ведь все пять сестёр, выходя замуж, брали фамилии мужей.

А вот и моя бабушка на старинной фотографии, такая романтическая особа, а рядом с бабушкой мой дед Андрей, удивительно похожий на писателя Александра Грина. А вот и моя молоденькая мама, выпускница строительного техникума. Какая красавица! Сияет белозубой улыбкой... А вот молодая тётя Зоя со своим пропавшим мужем...

И ещё много, много лиц – из разных эпох, моя многочисленная родня, и с каждым из этих людей – у меня общие корни. Удивительно! Есть здесь и свеженькие фотографии – улыбочивые детишки: поколение внуков и правнуков. Красуемся тут и мы с Маришкой в своих ранних стадиях развития.

* * *

...Послеполуденный зной, мы лежим с бабушкой в прохладной хате, прямо на полу, на пухлой перине, снятой с высоченной кровати, – так уютно!.. И бабушка рассказывает то, что я уже хорошо знаю, но готова слушать сколько угодно раз.

– Конечно, душой нашей семьи был отец, Лаврентий Яковлевич, – говорит бабушка, погружаясь в воспоминания. – Не помню, чтобы он на кого-нибудь голос хотя бы раз поднял. Никого из детей ни разу не наказал. Хотя нас семеро было, и всякое, конечно, случалось: проказы и ссоры какие-то между собой. Но отец даже посмотреть строго не мог, такой добрый был! Сама доброта... Я его очень любила, и он меня. Я была младшей, его любимицей, от него

не отходила. Так всему и научилась – у отца. А он и ткачом был искусным, вот здесь, в комнате, стоял ткацкий станок...

– А где он сейчас, этот станок?

– У Маруси, Химиной дочки. Как-нибудь сходим, покажу тебе, как на нём работают. Я ничего не забыла – руки всё помнят... А папа и по дереву был большой мастер. Всё мог: и бочку сделать, и посуду любую вырезать. Одним словом – всё, всё умел! Всю Васильевку всем необходимым обеспечивал. Из других сёл к нему тоже приходили, заказы делали. Этим мы и жили, а иначе плохо бы нам пришлось. Земли-то у нас своей совсем мало было. Тогда такой закон вышел (это ещё при царе): землю для семьи отмеряли по количеству мужчин в семье. Вот на отца и на двух братьев дали небольшой клочок земли в поле. А шестеро женских ртов не учитывалось! Так что нас кормила не земля, а папины золотые руки.

Я любила смотреть, как отец работает. Рядом с ним всегда так спокойно было, тепло... И он мне так ласково: «Даша, Дашенька...» Очень ласковый был. И какой-то совершенно безответный: не мог злом ответить на зло. Такая чистая христианская душа... Очень верующий был. У нас Хима в него пошла – такая же безответная. И так же веру свою сохранила, несмотря ни на что... Сейчас смотрю на Химу – и будто вижу отца, когда он уже старенький был...

А вот мать у нас была строгой. Параскева Потаповна её звали. Они с отцом такие разные были. Вот у неё как раз был мужской характер. И накричать могла, очень взрывчатая была, и таскала нас, девчонок, за косы, иногда очень больно, если мы по хозяйству не управились: не сделали то, что она нам наказала сделать. Но такое редко всё же случалось – тогда было принято слушаться родителей, почитать их. Мы рвались помогать, хотелось доказать, что вот, я уже взрослая, у меня всё получается! Я работать полюбила с раннего возраста, во всём отцу подражала...

– Бабушка, а отчего у вашей крестьянской семьи была такая аристократическая фамилия? Волконские! Прямо как у князей каких. Или у графов.

– А что ж тут аристократического? Очень простая фамилия. По-другому нас называли – Волоконские, даже не знаю, как правильнее. Я думаю, наша фамилия пошла от слова «волокно», ведь папа был ткач. А с другой стороны, кто ж его знает, отчего такая фамилия?... Отец его, мой дед, был отпущен на свободу из крепостничества. Почему ему была оказана такая милость, мне не ведомо. Может, не совсем крестьянского он был происхождения?... Ничего точно не известно. Но известно, что в Васильевку Яков Волконский, мой дед, приехал из Курской губернии. Скажу тебе, что ни дед Яков, ни отец мой Лаврентий на крестьян совсем не были похожи. В особенности отец – ни статью, ни характером. Отец интеллигентный был, мягкий, деликатный, и это у него было врождённое, от природы. Мать была крепкого сложения, а отец – нет. Худой, стройный. И руки у него такие красивые были, не мужицкие. Как сейчас их вижу: ладонь не широкая, удлинённая, и пальцы чуткие, длинные. Как у музыканта. Вот гляди: мои руки на папины похожи, но его были намного красивее... И то, что к искусствам он тянулся, а не к земле... Всё сходится к тому, что не был он по рождению простым человеком, тем более крестьянином...

Читать очень любил. И во мне с детства большую жажду к книгам заронил. Забьюсь, бывало, с книжкой на печку, и никто меня не найдёт... Вот за чтение мне от матери и доставалось, сердилась она на меня за это очень...

...И так мы лежим с бабушкой в чистенькой, пахучей хате, здесь всегда пахнет домашним хлебом, который лежит на столе, прикрытый чистыми рушниками.

А за окошком колышутся розовые и тёмно-вишнёвые мальвы, измазанные густой жёлтой пылью...

И, затаив дыхание, я слушаю бабушкин рассказ о давней жизни, которая в этой беленькой хате обступает меня со всех сторон...

Карнауховка

Пионерский лагерь в Карнауховке. Прошлым летом я была здесь одна. Теперь мы здесь четвером: две Ани, Лариса-Дюймовочка и я.

За лагерем – памятная мне с прошлого года, огромная страшная гора песка, в которой, по местной легенде, утонули два мальчика. Этот песок засосал их... Ужас!

«Там, где пехота не пройдет, и быстрый всадник не промчится, угрюмый танк не проползёт, там пролетит стальная птица...» – наша отрядная песня, которую мы горланим на утренней линейке.

Неожиданно меня навещает мама. Не в воскресенье, а среди недели. Она очень грустная. Советуется со мной: уходить ей от Фёдора или нет? Я в растерянности... Я не знаю, что ей посоветовать, ведь мне только одиннадцать лет, разве я могу быть советчицей в таких делах?

– А как же Маришка? – спрашиваю я. – Она же любит папу Федю.

– Ну, что Маришка... Ты же выросла без отца, и ничего, вырастит и она, – грустно вздыхает мама. – Я уже ездила в Запорожье, нашла там работу. Обещали сразу дать квартиру. Очень красивый город, на Днепре. Ну что, поедem в Запорожье?

– Как хочешь...

Она уезжает, а на меня наваливается тоска. Я постоянно думаю об отце. Почему нельзя вместо Запорожья поехать к нему, в Одессу?.. Как бы он, наверное, обрадовался и удивился!

Однажды, во время «мёртвого часа», я не выдержала и рассказала об отце Ларисе. Почему-то ей, а не Ане-маленькой, что было бы логичнее. А с Ларисой мы и не дружили-то особо, просто её кровать стояла вплотную к моей, и она тоже не спала в тот час, а мне нужно было срочно выговориться...

Рассказала ей о папе Серёже, о том, как скучаю о нём, и о том, что папу Федю не очень люблю и боюсь его.

Лариса была удивлена: она думала, что Фёдор и есть мой родной отец. Я умоляла её никому не раскрывать мою тайну. Она с жаром поклялась.

Евпатория

Нет, ни в какое Запорожье мы не уехали. Но, когда я вернулась из Карнауховки, меня с бабушкой и Маришей отправили на месяц в Евпаторию.

Потому что к родственникам в Судак, куда мы ездили прошлым летом, бабушка ехать наотрез отказалась. В Судак долго и трудно добираться до моря – по пеклу через весь город, пешком, а потом через пустыню. Маленькую, но пустыню. Пока добредёшь – с копыт долой, уже никакого моря не захочешь. Ну и от Симферополя до Судака добраться – тоже проблема: несколько часов стой на жаре в очереди за билетом на автобус. Так что в этот раз родители решили отправить нас туда, куда было проще добраться.

Поездка началась с того, что нас чуть не высадили из поезда на первой же остановке – бабушка забыла дома билеты! Контролёр настаивал на нашей немедленной высадке, хотел даже дёрнуть ручку стоп-крана. Бабушка горько плакала, а весь вагон умолял контролёра сжалиться над несчастной склеротичной старушкой и её несчастными малолетними внуками. В итоге человеческая доброта победила – контролёр над нами сжалился. И мы продолжили свой путь в Евпаторию.

А пока ехали, на нас даже из других вагонов приходили поглазеть, как на «звёзд» эстрады: всё-таки нечастое явление – целое семейство безбилетных «зайцев»!

* * *

В Евпатории мы сняли маленькую комнатку в самом центре города, в бывшем татарском квартале. Наше жилище было очень романтичным: на улицу выходила белая глиняная стена – ни одного окошка, а в стене – деревянная дверь, ведущая во двор. Во дворе оказалось множество одноэтажных построек, густо заселённых курортниками. Весь двор был опутан, как паутиной, бельевыми верёвками, на которых болтались купальные принадлежности. У раскрытых дверей домиков шумели керогазы...

А по вечерам отдыхающие собирались во дворе, вынося сюда табуретки и раскладушки, и начиналось общение под низкими крымскими звёздами... Этот уютный мирок напомнил мне чем-то двор на Философской улице...

В комнатке, которую мы занимаем, – скромная обстановка, как на Философской: одна кровать, пару стульев и стол. И земляной пол, как в Васильевке. Бабушка с Маришей спят на кровати, а я на одеяле на полу – мне такая обстановка нравится.

А самое главное, что от нашего дома до городского пляжа – всего минут десять пешком – не то, что целый час в Судак!

* * *

Но когда мы выходим из своего уютного домика, я впадаю в уныние: – все улицы Евпатории запружены колясками с детьми-инвалидами... Не так давно в стране бушевала эпидемия полиомиелита – страшная болезнь, поражающая детей параличом. И теперь этих несчастных детей везут летом в Евпаторию. Это место считается всесоюзным детским курортом-лечебницей. Бабушка говорит, что если бы знала, что мы здесь такое страшное увидим, то ни за что бы сюда с нами не поехала, – у неё всё время глаза на мокром месте.

Ходить по улицам Евпатории больно и страшно. Смотрю в землю. Невмоготу видеть этих перекрученных болезнью детей... Стыдно за своё здоровье: что вот руки и ноги у меня нормально двигаются. Кажется, что все эти дети смотрят на меня с горьким вопросом: почему мне повезло, а им – нет? Никогда не думала, что мне придётся когда-нибудь комплексовать из-за своего здоровья.

Столько лет переживала из-за своего нездоровья, но вот, оказывается, как в жизни всё относительно...

* * *

Море хоть и близко, но здесь свои проблемы: огромное количество народу. Просто тьма! Море людей – у моря воды...

Если прийти на пляж в девять утра, то места на берегу, даже самого маленького клочочка, уже не найти. Люди приходят рано-рано – чтобы занять на пляже местечко: расстилают на песке простыню, или одеяло, – и идут домой досыпать.

Бабушка будит меня в шесть утра, даёт в руки одеяло и персик, и я, отроковица одиннадцати лет, бодро шагаю, жуя на ходу персик, по пустынным, залитым утренним солнцем улицам к морю... Это были дивные прогулки! Я чувствовала себя совершенно взрослой – ещё бы! Разве отпустят ребёнка в шесть утра одного на море?.. А меня бабушка отпускает. Значит, я уже не ребёнок.

Прихожу на пляж, а там уже полно простынок на берегу, придавленных по краям камушками. Весь пляж как будто в белых заплатках. Но при этом – ни души... Такое удивительное зрелище. Пляж озарён нежным, нежарким ещё солнцем, маленькие улыбчивые волны набегают с тихим шорохом на берег, толстые чайки ворошат большими клювами песок: ищут, чем бы поживиться...

Расстилаю наше одеяло поближе к воде, ложусь на него, прикрывшись одним уголком, и сладко засыпаю под ласковый, колыбельный шум волн... Есть счастье в жизни!

Просыпаюсь, когда бабушка тормошит меня. Оказывается, пляж уже наполнился до отказа людьми, припекает солнце, Маришка копается рядом в песочке, бабушка принесла мне завтрак.

...И так я ходила ранними утрами на пляж, и бабушка переживала, что нужно будить ребёнка ни свет ни заря. Да мне хорошо, бабушка, мне хорошо!

* * *

Потом кто-то сказал бабушке про Золотой пляж. Что есть где-то за городом Золотой пляж, где намного меньше народу, но зато надо ехать целый час на автобусе.

Мы пришли рано утром на автобусную остановку, народу было уже полно. И когда автобус пришёл, все ринулись его осаждать, как, наверное, в войну осаждали вагоны теплушек, как древние воины осаждали стены крепостей... Давка была ужасная. Я держу на руках трёхлетнюю Маришку, у бабушки в руках сумки с едой и одеялом. Людская волна понесла нас с Маришкой и затянула в автобус, а бабушка протиснуться к нам никак не могла: в таких ситуациях бабушка становилась совершенно беспомощной.

Итак, автобус тронулся и поехал на Золотой пляж. А бабушка осталась!

Мы ехали долго, час, или даже больше, – жара, духота, тряска... Мне показалось – мы ехали полдня, автобус был набит битком так, что я не могла поставить на пол Маришку и всё это время держала её на руках, точнее – на левой руке, потому что правой уцепилась на поручень. Мне казалось, что левая рука у меня переломится надвое, так мне было тяжело. И внутри всё страшно напряглось – где-то в животе. Я даже испугалась в какой-то момент, что у меня там что-то лопнет, и я опять заболею желтухой.

Никто мне места, естественно, не уступил. Только кондукторша отругала меня за то, что мы едем без билета (кошелёк-то был у бабушки).

Кондукторша хотела высадить нас с Маришкой на полпути, но тут опять за нас вступились добрые люди, и двух малолетних «зайцев» оставили в покое.

Наконец, мы приехали. Какое-то неприятное, захудалое место. Почему пляж называется «золотым» – непонятно. Иду посмотреть расписание автобусов, и выясняется, что следующий автобус придёт чуть ли не под вечер! Значит, ждать бабушку нет смысла. Уехать обратно тоже нечем: – наш автобус уже ушёл, пока мы изучали расписание, и до вечера его не будет.

Как же там наша бедная бабушка?! У неё же инфаркт будет, что мы с Маришкой где-то без неё, на каком-то Золотом пляже, без еды и без присмотра...

И я решила, что единственный правильный выход – идти обратно в Евпаторию. Но идти по шоссе не хотелось: жарко, выхлопные газы, и потом – вдруг дорога где-нибудь раздваивается? – можно заблудиться. И тогда я решила идти по берегу моря: так мы точно не заблудимся. В конце концов мы обязательно придём на наш городской пляж, а оттуда уже рукой подать до нашего домика.

И мы с Маришкой пошли... По бережку, по мягкому золотому песочку, на ноги набегали маленькие волны, за нами по пустынному берегу тянулись две цепочки следов... Ни одного человека мы на своём пути не встретили. Шли и шли... Иногда Маришка уставала, и я сажала её себе на плечи. Потом опять спускала на песок, и мы опять шли и шли... размахивая сандалиями, по тёплому прибою...

И какова же была наша радость, когда (через час, или два, часов-то у меня не было) мы увидели идущую нам навстречу бабушку!..

Правда, бабушка стала меня тут же сильно ругать: во-первых, за то, что мы без неё уехали, хотя вины моей в этом не было никакой; а во-вторых, за то, что мы пошли по берегу моря, а не сидели, как послушные дети, и не дожидались её на Золотом пляже.

Ей ударило в голову, что, идя без присмотра по берегу моря, мы с Маришей могли утонуть! Интересно: каким образом мы могли утонуть?..

Всё-таки взрослые держат детей за идиотов, они приписывают детям какие-то идиотские помыслы, которые просто не могут родиться в нормальной голове! А то, что голова у меня нормальная, бабушка могла бы уже знать.

Я ведь хотела, чтобы она поскорее перестала о нас волноваться. Я думала: она пошла домой (не стоять же ей целый день на автобусной остановке), сидит там и горько плачет о потерянных детях... А мы – тут как тут! Здравствуй, дорогая бабушка, мы вернулись!

Наверное, дети тоже держат взрослых за идиотов: это ж надо было придумать такое, что бабушка пошла домой, сидит там и плачет!

Эта история открыла мне глаза на то, что дети и взрослые – существа близкие по разуму, что порой дети и взрослые оценивают ситуацию совершенно одинаково, и решения принимают совершенно одинаковые. (Но почему-то не верят в разумность друг друга).

...А я до сих пор радуюсь, когда вспоминаю, как мы встретили нашу бабушку на морском берегу, где-то на полпути между Золотым пляжем и Евпаторией...

* * *

В Евпатории мы с бабушкой первый раз говорили о Христе. Неподалёку от нашей улочки площадь. На площади – церковь, действующая по воскресеньям. Туда идёт народ, не густо, но идёт.

– Бабушка, зачем?

– Ну, как... Богу молиться. Христу.

– А кто такой Христос? – спрашиваю я.

Удивительно, что раньше я такого вопроса бабушке никогда не задавала. Хотя и слышала от неё выражения: «Христа ради», «христианская душа». Но для меня это были просто такие бабушкины выражения: Христа ради – вроде как «пожалуйста», христианская душа – значит, «очень хороший человек». И когда в Васильевке от бабушки Моти или от бабушки Химы я слышала порой вздох-восклицание: «Христе Боже наш!» – то тоже воспринимала это как старинное выражение, которое можно услышать только от бабушек в селе.

А то, что мои сельские бабушки верят в Бога – в Кого-то, Кто над нами, где-то на далёких небесах, Который слышит их вздохи, их просьбы, – я это знала давно. Их вера была не отделима от них, как вся их жизнь – с этими хатками и рушниками, мальвами и глиняными горшками на тыне (на заборе), простыми радостями и горькими воспоминаниями. Их вера была естественно вплетена в красно-чёрный узор жизни, и я как-то интуитивно чувствовала, что «Христе Боже наш» – может быть, самая главная нить в этом узоре... Именно та нить, за кото-

рую они держатся во всех жизненных испытаниях. И были иконы в углу... – эти потемневшие портреты Бога и его Матери... Они были также не отделимы от сельской жизни и не вызывали у меня вопросов.

И только сейчас, в Евпатории, вот в эту минуту, до меня вдруг дошло, что «Христос» – это ЧБЁ-ТО ИМЯ! И меня это сильно поразило.

– Бабушка, а кто такой Христос? – повторяю я свой вопрос.

И бабушка, немного поколебавшись, как будто собираясь с мыслями, начинает рассказывать о человеке, который жил когда-то очень давно в Израиле... Очень хороший человек. Он учил народ, как надо правильно жить, и многие почитали его Богом, но потом евреи его убили.

– За что, бабушка?!

– По злобе человеческой.

– Так он был Богом – или нет?

– Он был сын Бога.

– Как это?

– Его простая женщина родила, Мария. Но родила не от мужа, а от Бога.

– Как это?..

Я чувствую, что моя голова не в состоянии вместить бабушкины объяснения.

– Ну, ты ещё мала такое понимать, – говорит бабушка, видя мою обескураженность.

– А ты веришь в Бога, бабушка?

– Когда-то верила. И мой отец глубоко верующим был. Он мне и привил эту веру. Да, когда-то я сильно верила в Бога... Но я перестала в него верить, когда увидела, как еврейских детей ведут в газовые камеры... Им ещё под носиком, каждому, чем-то мазали – чем-то одуряющим. Чтобы они не кричали, не плакали. И они шли безропотно, немножко как бы сонные, ничего не понимая... шли, как овечки на заклание... Видеть это было выше человеческих сил! Я подумала тогда: если бы на свете был Бог, он бы такого не допустил!.. После того, что я пережила, что я видела в концлагерях, я не могу больше верить. Моя вера в Бога умерла в Освенциме...

А Христа я и сейчас люблю. Он был очень хороший человек, и все слова, что он говорил, были правильные. Только если бы Он был Богом, он бы не допустил такого зверства, которое немцы чинили, тем более – над детьми... Почему Он это допустил?! Кто мне ответит на этот вопрос?! В чём были виноваты эти дети?! – почти кричит бабушка, и её глаза горят гневом и обидой.

– Я спрашиваю: в чём были виноваты эти дети?! – с болью и горечью повторяет она свой вопрос, обращаясь неизвестно к кому. – А эти – вот эти несчастные калеки! Сколько их тут? Куда ни глянь... За что их судьба так страшно наказала? В чём они, бедные, провинились? Я спрашиваю: в чём они провинились?!

– Не знаю, бабушка...

Бабушка гневно молчит. Потом как будто очнувшись. Грустно вздохнула, сказала усталым голосом:

– Впрочем, Ленин тоже хорошему учил людей: чтобы все в равенстве жили, чтобы не было бедных и богатых. И если бы люди по его заветам жили (ну или по заветам Христа), то жизнь, конечно, была бы совсем другая... Я Ленина тоже люблю. Мне мой муж Яша про Ленина много рассказывал. Ленин был очень скромный, ему для себя ничего не нужно было. Рождаются иногда на свет хорошие люди, которые учат людей добру, но народ это не принимает.

– Почему, бабушка?

– А кто ж его знает?.. – вздохнула бабушка.

* * *

К нам наведася хозяин нашей комнатки, молодой весёлый парень Валера. Мы с ним как-то сразу подружились, как было когда-то с дядей Павлом. Это удивительно: только Валера вошёл, улыбаясь, в дом, как мы все его тут же полюбили. Бывает так в жизни: как будто всегда знала этого человека, только давно с ним не виделась...

Тут же пошли разговоры, общение, бабушка кинулась кормить Валеру, как любимого внука. Валере было, наверное, лет двадцать пять. Потом он попросил бабушку отпустить меня с ним погулять, и бабушка тут же с радостью меня отпустила.

Валера предложил сходить в городской парк. Я согласилась, только предупредила, что на качелях не качаюсь, потому что меня на них укачивает. Валера сказал, что тогда мы просто погуляем и навестим его знакомых. Мы дошли до парка, но там был платный вход. Валера сказал, что это глупо – платить за вход в парк, лично он никогда не платит. Мы зашли за угол, и Валера показал, как он ходит в парк: быстро и ловко, как обезьяна, он перелез через высокую чугунную ограду и легко спрыгнул на землю. «Давай, перелезай!» – крикнул он мне уже с той стороны.

Хватаясь за чугунные витые перепонки, я тоже полезла, как паук по паутине. И вот я уже наверху.

– Молодец! – подбадривает меня снизу Валера. – Давай прыгай! я тебя поймаю!

И я прыгнула прямо в его руки... под громкий треск своего подола, который зацепился за чугунный ромб (этими ромбами в то время, да и сейчас тоже, любят украшать ограды городских парков). Новенький сиреневый сарафанчик, который я надела сегодня первый раз, был безжалостно разорван сзади этим архитектурным излишеством. Я испугалась: что бабушка скажет?! Ругать будет... Валера тоже огорчился, но ненадолго.

– Идём! – сказал он. – У меня подружки здесь живут, они тебе живо всё починят, бабушка даже не догадается ни о чём.

И мы пошли через весь парк в какие-то его дебри, парк был похож на лес, мы сторонились людных аллей, потому что я очень смущалась своего разорванного вида. Валера привёл меня к маленькому зелёному вагончику, здесь обитали его знакомые – две девушки-озеленильницы. Они работали в парке. И здесь же, в вагончике, жили.

Девушки были студентками, ботаниками, из какого-то другого города, а в Евпаторию приехали на практику. Одна из них была очень красивой – с чудными золотыми волосами, такая вся солнечная, смешливая. Её Валера и попросил зашить мне подол. Она вооружилась иголкой, я села на табурет к ней спиной, и она взялась за реставрацию моего сарафанчика. При этом мы все общались, хохотали, вторая девушка заварила в это время пахучий чай, и я совершенно не чувствовала себя малявкой, и никто ко мне не относился как к маленькой.

Когда подол был зашит, все высоко оценили талант золотоволосой девушки, особенно восхищался Валера. Было видно, что он в эту девушку влюблён.

А потом мы пили чай под жёлтой, низко свисающей над столом лампой. Было уютно и тепло. И мне тоже хотелось поселиться когда-нибудь в маленьком вагончике, с задушевной подругой, в чаще какого-нибудь парка, и пить по вечерам чай под жёлтой лампой, и чтобы приходили на огонёк хорошие люди, с которыми можно было бы так славно поболтать...

Мы ушли из вагончика довольно поздно, когда уже было совсем темно. Я думала, что бабушка будет меня ругать за позднее возвращение, но она ничуть не ругала, только сказала Валере спасибо за то, что он меня выгулял.

А на разорванный подол бабушка обратила внимание только когда стирала сарафанчик. Но подол был так искусно зашит, что она даже не ругала меня, а только удивилась: как это она так долго ничего не замечала?

* * *

Мне очень жаль, что я никогда не любила писать письма, мне почему-то всегда было это очень трудно – написать письмо. Поэтому я ничего не знаю о той золотоволосой девушке

и о весёлом Валере. Но мне хочется думать, что у них всё хорошо, и что они, может быть, вместе, и у них родились весёлые золотоволосые дети... У хороших людей должно быть в жизни всё хорошо.

А иногда я думаю: вот взять бы и приехать однажды в Евпаторию, и найти тот домик, ведь у меня хорошая зрительная память, я бы обязательно его нашла. А там живёт взрослый дядя, совсем взрослый, даже уже почти пожилой, а я к нему с вопросом: «А не помните ли вы девочку, с которой лазили когда-то в парк через забор?..» А он бы улыбнулся такой замечательной улыбкой, помолодев сразу на сорок лет, и ответил бы: «Как не помнить! Ну как, бабушка не ругала за порванный подол?»

Иногда так хочется увидеть людей, с которыми общалась совсем чуть-чуть, но почему-то запомнила их навсегда. И в том месте в сердце, где они живут, эти хорошие, почти незнакомые люди, в этом месте тепло-тепло...

И те минуты нашего общения я вспоминаю с нежностью и благодарностью. Почему? Да потому, что эти люди принимали меня такой, какая я есть, и были ко мне добры, и всё было по-настоящему. Спасибо вам, милые, хорошие люди!

Наверное, такие минуты и называются настоящей жизнью, хотя почти ничего особенного в эти минуты не происходит (на первый взгляд). Но внутри происходит что-то очень-очень важное, не называемое словами...

Часть 2. Вопросы без ответов

5 класс. Мне 11 лет. 1961—1962

И опять осень... Мысли об отце не дают мне покоя.

Моя повесть – – продолжает жить в моём портфеле. И она страстно желает стать явью. Точнее – это я страстно желаю этого! Я перестала ходить гулять. Мне кажется: я уйду гулять, а отец в это время приедет, и мне потом об этом не скажут... *моя настоящая жизнь*

Я жду отца каждый день. Ведь он приходил уже однажды, совершенно неожиданно. Значит, может прийти опять, в любой день. Главное – не прозевать его. Иду из школы и смотрю: не сидит ли он где-нибудь на лавочке в ожидании меня?.. Как сидел четыре года назад в Оренбурге. Тогда я не сразу заметила его. А он, оказывается, долго сидел и наблюдал, как я играю с ребятами. А потом Мишка Бочкарёв подбежал и говорит: «Тебя какой-то дядя зовёт, вон там на лавочке сидит...»

Я жду отца каждый день. Это стало моей навязчивой идеей.

* * *

Разговор с мамой. Неожиданный и тяжёлый.

Мама устроила мне настоящий допрос: что такого я наговорила в лагере Ларисе, что она потом рассказала своей маме? (А её мама – соответственно, моей маме).

И почему это вдруг я не люблю Фёдора? Что он плохого мне сделал, чтобы его не любить? И как я могу любить папу Серёжу, если я его почти не знаю? И что это мне вообще взбрело в голову – жаловаться Ларисе? И как мне не стыдно быть такой неблагодарной в отношении Фёдора, ну и так далее...

В конце концов, она довела меня до слёз и выдавила из меня мучительные, ужасно стыдные, ложные признания: я плакала и уверяла её, что Лариса меня не правильно поняла, что я говорила всё наоборот, что люблю я как раз папу Федю, ну и так далее...

Мама, наконец, оставила меня в покое. Не знаю уж, поверила она мне или нет. Скорее всего – нет, ведь я не умею врать, и мама об этом знает.

Она ушла, а я достала из портфеля свою повесть, взяла спички и пошла на пустырь за домом.

Да, я её сожгла... Свою повесть. Я не могла допустить, чтобы её прочли мама или бабушка. О Фёдоре я уже и не говорю! Я сердцем чувствовала, что такая угроза нависла над моей повестью. Если бы они её прочли, мою повесть, мне бы пришлось уйти из дома. Или умереть.

Какой вывод сделала я после этой истории? А не рассказывай подружкам о сокровенном! И не верь ничьим клятвам.

После сожжения повести я перестала торчать по вечерам дома, в ожидании отца. Я чувствовала себя предательницей, и мне тяжело было видеть маму, которая толкнула меня на это.

* * *

Прошла целая жизнь. А я не могу забыть свой жертвенный костерок на пустыре за домом...

Прыжки в прошлое

Теперь по вечерам, пока ещё бабье лето и не пошли дожди, я болтаюсь на спортплощадке в школьном дворе. Мне нравится прыгать в длину. Разумеется, меня интересует не результат – мне нравится сам момент прыжка. Ощущение ПОЛЁТА.

И вот – упругое приземление, ноги зарываются по щиколотку в нежный песок, тёплый и прохладный одновременно. Окунаю в песок руки, сижу, блаженствую...

Мне не нужен измеритель длины: на сколько я прыгнула. Мой собственный измеритель – у меня внутри. А прыгаю я ровно... на четыре года назад! Потому что это не просто яма с песком – это моя личная машина времени.

С каждым прыжком я оказываюсь ровно в 31-м августа 1957 года, в городе Оренбурге, во дворе нашего дома на проспекте Братьев Коростелёвых, куда мы только сегодня переехали. И пока взрослые расставляют мебель, я вышла в большой, но совершенно пустынный в этот час двор. Я пошла вглубь двора и нашла среди зарослей жёлтой акации песочницу с удивительно нежным, светло-жёлтым речным песком... Я скинула сандалии, нагроулила их песком, как две маленькие баржи, и пустила их в плаванье по песочным барханам...

В этот момент к песочнице подошёл мальчик. Он тоже скинул свои сандалии и тоже нагроулил их песком и пустил их в плаванье по песочным барханам...

Мы играли в песочнице до позднего вечера. Мальчика звали Миша, ему было, как и мне, семь лет. Он, как и я, завтра шёл в первый класс. Мы играли с ним, пока мамы не позвали нас домой. Почти одновременно прозвучало из окон: «Миша!» «Лена!» И когда мы пошли домой, оказалось, что мы с Мишкой живём на одной лестничной площадке!

А когда мы на завтра пришли в школу, учительница нас посадила за одну парту. Так я обрела замечательного друга, с которым мы были неразлучны два года, и если бы мы не уехали из Оренбурга, мы дружили бы с Мишкой всю жизнь, я уверена в этом!

Странно, что мне не приходила в голову мысль написать ему письмо. Но в какие-то моменты жизни, вот как сейчас, когда я сижу в яме с песком, с грустью и блаженством ощущая нежные, сыпучие песчинки времени, мне кажется, что я общаюсь с Мишкой... Кажется, что я и не уезжала никуда...

Меня с детства поражала эта волшебная возможность: через незабытое ощущение, или через любимый запах – как будто опять войти в то время, где ты была очень-очень счастлива – где живёт этот запах, или это ощущение...

Так что путешествовать во времени на самом деле очень просто. Надо только уметь ПОМНИТЬ.

Маришкины пальчики

Мама и Фёдор ушли в кино на поздний сеанс, наказав нам с Маришей крепко и сладко спать. Бабушки с нами сейчас нет, она в Днепропетровске. Мы с Маришей одни в огромной квартире.

Укладываемся спать на широкую бабушкину кровать – так уютнее и не страшно. Хотя на Философской, в детстве, я часто оставалась одна, но там мы жили в муравейнике, и вокруг всегда были люди. Я и не подозревала, что может быть так неудобно в пустой огромной квартире... Всё-таки я трусиха. Стыд мне и позор! Мне – старшей сестре.

Почитала Маришке перед сном Андерсена. Андерсен – наш любимец. Мы обе любим историю про влюблённого оловянного солдатика и балерину, и как они сгорели вместе в камине... И как потом вымели из камина маленькое оловянное сердце и несгоревшую блёстку от платья балерины...

Я наизусть знаю эту историю, но всё равно с какой-то не утоляемой жадой перечитываю её вновь. И мне каждый раз кажется, что и со мной произойдёт в жизни что-то подобное: такая же красивая и трагическая история. Но что-то ведь останется и от меня – какая-нибудь маленькая несгораемая блёстка... или сердце...

А как я жалею и понимаю Русалочку! Как я понимаю её мучительную боль оттого, что хочешь сказать – и не можешь. И все поэтому думают о тебе совсем не то!

Потом Мариша уснула. А я не сплю... Фонарь ярко светит в окно... Лежу и смотрю на Маришу, маленькую и светлую...

Я смотрю на неё... и мне кажется, что рядом со мной – неземное существо. Тонкое, прозрачное личико... Светлые, лёгкие завитки волос... Меня охватывает волнение, какого я ещё никогда в жизни не испытывала. Мне кажется: рядом со мной тихонько спит АНГЕЛ...

Рука с тонким запястьем лежит поверх одеяла так доверчиво и незащитно... Я всегда её любила, мою маленькую сестрёнку, но то, что я испытала в ту ночь, когда мы были одни в доме – как будто одни в целом мире! – и я оберегала её сон... То, что я испытала тогда, не забылось до сих пор.

Я тихонько целовала её пальчики. Тоненькие, тёплые пальчики маленького любимого ребёнка. И во мне была такая большая нежность, что я даже заплакала...

С той ночи я стала относиться к Марише не просто как к сестре. Это было уже нечто большее. В ту ночь во мне проснулось материнство...

С той ночи мы так потом и спали вдвоём на широкой бабушкиной кровати. А бабушка перешла на мою. И я по ночам укрывала Маришку, щупала её лоб (не горячий ли?) Была ей мамой.

Новости пятого класса.

Проблемы с украинским языком

В пятом классе у нас не один учитель, как раньше, а много учителей – каждый по своему предмету. Мне от этого немного тревожно, потому что надо быстро привыкать к ним – очень разным.

Несколько учителей мне нравятся, например, учительница русского языка и литературы, спокойная, пожилая Александра Ивановна Овчаренко. Она мне тепло улыбается, потому что во время диктантов я никогда не делаю ошибок. И учительница математики мне тоже нравится – молодая, весёлая Фира Григорьевна Хейфец. Так как у меня «мамина голова», и я с лёгкостью решаю любые задачки, Фира Григорьевна смотрит на меня с симпатией, так что её я тоже не боюсь.

А вот учительница украинского языка и литературы Татьяна Пантелеевна меня невзлюбила! Причём, очень сильно невзлюбила. Дело в том, что я не умею «гэкать». Все в классе

умеют, а я – нет. В украинском языке звук «г» нужно произносить глухо и грубо. У меня так не получается. Да я, честно говоря, не очень и стараюсь. Мне кажется, что так говорить – не красиво, и я произношу «г» чётко и звонко. Ни в Днепропетровске, ни в Луганске меня за это учителя не ругали.

А Татьяна Пантелеевна меня ругает и смотрит на меня злыми глазами. Она называет меня кацапкой. При всех, прямо на уроке, называет меня кацапкой.

Я вспомнила, что в Оренбурге, на Полигонной улице, моя бабушка так называла нашу соседку по квартире.

– Бабушка, а почему она кацапка? Что такое кацапка? – допытывалась я тогда.

– Кацапы – это русские. Но не все, а с таким вредным характером, как эта Татьяна.

– А почему она вредная?

– Она нас обзывает хохлами.

– А разве мы хохлы?

– Мы, деточка, русские. Но мы приехали с Украины. И Татьяна поэтому считает нас людьми второго сорта. Как бы ненастоящими русскими. Она думает: если с Украины – то значит хохлы. Вот я и говорю: глупая кацапка!

* * *

А теперь учительница-украинка меня саму обзывает кацапкой. Это неприятно и обидно.

Если на то пошло, то мы все тут кацапы. Я не слышала, чтобы в Вольногорске кто-нибудь говорил на украинском языке – ни на улице, ни в магазине, нигде. Все говорят по-русски. И только хуторянки, торгующие на рынке, говорят на суржике. Суржик – это такой южный говор. Русский язык с мягкой интонацией и разными вкусными словечками. Фёдор говорит, что в каждом украинском селе – свой говор.

На суржике разговаривают наши родственники в Васильевке, и я всё понимаю. Не было случая, чтобы я чего-то не поняла. Но это не тот украинский язык, который мы учим на уроке.

* * *

Вспоминаю: когда мы приехали из Оренбурга в Днепропетровск, бабушка меня записала в школу, школа была русская, но выяснилось, что обязательным предметом у нас будет украинский язык. Потому что это Украина, и все должны изучать и знать украинский язык. На всякий случай. Оказывается, в школе его изучают со второго класса. Я испугалась, что окажусь из-за украинского языка в отстающих учениках. Бабушка сказала, чтобы я не переживала, что впереди у нас целое лето на изучение украинского языка. Она пошла в библиотеку и принесла кучу разных книжек на украинском языке.

И мы с ней и с этими книгами поехали в Васильевку. И там бабушка читала украинские книги вслух, по вечерам, на дворе, когда бабушка Мотя и тётя Зоя отдыхали после дневной работы и тоже могли послушать. У нас был такой «двор-читальня».

Сначала я ничего не понимала из прочитанного и плакала: «Бабушка, я никогда не выучу этот язык, я буду двоечницей!» Кстати, бабушка Мотя и тётя Зоя тоже не всё понимали.

Но моя бабушка нам переводила. У неё были способности к языкам, и это она обнаружила в концлагерях. Там надзирательницами были немки и польки, и бабушка очень быстро выучила немецкий и польский – так, чтобы понимать и даже говорить. А среди узниц были украинки с Западной Украины, и бабушка выучила украинский. Бабушка говорила, что украинский язык больше похож на польский, чем на русский. Поэтому он нам кажется не очень понятным. Хотя все эти языки славянские, родственные. И когда-то пошли от одного общего языка.

Мало-помалу я стала понимать «украинську мову». И когда пошла в школу, то у меня уже не было проблем. А насчёт произношения мне никогда не делали замечаний.

* * *

И вдруг в Вольногорске учительница украинского языка буквально взъелась на меня! Из-за того, что я не хочу «гэкать». И однажды на уроке она сказала, обращаясь к классу:

– Я вы знаете, дети, как мы дразнили в детстве кацапов? (Она это сказала, естественно, по-украински).

– Как, как? – заинтересовались мои одноклассники.

И она продекламировала – теперь уже на русском языке, с особым презрением произнося звонкое, отчётливое «г», которое вонзалось в мой мозг, как гвозди:

Класс покатился со смеху... Я сидела красная, как рак, и едва сдерживала слёзы. Учительница была довольна собой и произведённым эффектом.

А я дала себе слово, что никогда не стану «гэкать» – даже под пытками. Очень я на неё обиделась!

* * *

Я рассказала бабушке эту историю, но не тогда, в разгар конфликта, а спустя несколько лет, когда у нас уже была другая учительница украинского. А тогда – не могла. В те времена как-то было не принято жаловаться родителям, тем более бабушке, на школу. Школа – это было личное дело школьника. И мы, школьники, как могли – так и разбирались со своими школьными проблемами.

И только спустя года три, я рассказала бабушке про то, что учительница украинского языка обзывала меня кацапкой и учила моих одноклассников, как меня надо дразнить.

– Так она с Западной Украины приехала, эта ваша учительница, – сказала бабушка. – А там много таких, которые ненавидят русских. Ну, и сидела бы в своей Западной! Зачем приезжать сюда и портить людям жизнь и нервы? Я таких много видела, когда в Западную ездила. Недобитые бандеровцы...

– Бабушка, а кто такие бандеровцы?

– Это украинские фашисты. А Бандера – их главарь. Их, украинский Гитлер.

– А он жив – этот Бандера?!

– Слава Богу, уже нет. Но долго после войны был жив. Не знаю, как его земля носила...

– Бабушка, а я думала, что фашисты – это немцы.

– Фашисты, деточка, могут быть любой национальности. В Испании Франко был фашистом, в Италии – Муссолини. Так что там тоже были фашистские режимы. Фашисты – это те, кто ненавидит людей другой национальности. И уничтожает их. К сожалению, во время войны много украинцев стало на сторону фашистов. Они были полицией, предателями, пособниками немцев. Очень сильно лютовали... Меня в гестапо пытал украинец. Допрашивал вежливый немец, а пытал украинец – гвозди под ногти заколачивал, бил головой о стенку, выбивая признания... Но ничего от меня не добился. Когда теряла сознание – окатывал ледяной водой – и продолжал пытать... Свой, украинец! А что бандеровцы в Западной творили!... Это словами не передать. Русских, евреев вырезали, целые семьи, даже младенцев не щадили... Я, честно говоря, рада, что у Фёдора в Черновцах с работой не выгорело. Воздух-то там чистый, лесной... Но там их много окопалось...

– Что значит «много окопалось»? Неужели опять будет война, бабушка?!

– Не приведи, Господи, конечно. Всё можно вынести: бедность, холод, голод. Лишь бы не было войны!

Это я от бабушки часто слышала: «Лишь бы не было войны!» Под это заклинание, под эту молитву выросло всё наше поколение – послевоенных детей.

– А я ведь и тебя когда-то потащила в Западную, – говорит бабушка. – Но ты не помнишь, наверное, мала ещё была. Тебе и четырёх лет не было тогда.

– Помню, бабушка! Всё помню!

– Да неужто?.. – не столько радуется, сколько пугается бабушка. – Но не могла я тогда не поехать к Мусе. Как мать, должна была Мусе помочь...

ришка, ад, подай ребёнку! Г г г
ниды-ады олову рызут! Г г г г

Про Мусю

Наша бабушка, потеряв в молодости своего любимого мужа Яшу, которого убил туберкулёз, вышла потом замуж за вдовца с маленьким ребёнком. Собственно, из жалости к маленькой Мусе бабушка и вышла замуж второй раз. И стала настоящей мамой для своей приёмной дочери. А Муся её буквально боготворила! Она, сколько я помню, называла её только «мамочкой»: «дорогая мамочка», «любимая мамочка», «родненькая мамочка». Она готова была носить мамочку на руках, так она её любила и обожала.

* * *

Когда я первый раз увидела мамину старшую сестру – Марию Андреевну Панченко, или, ласково, Мусю – это было на Философской улице, в моём раннем детстве. Муся была такая красивая... и вся в орденах и медалях...

Красавица Муся ушла на фронт восемнадцатилетней, отучившись один год в пединституте. Восемнадцать лет ей исполнилось 22 июня – в день начала войны. Немцы очень быстро подступали к Новомосковску, где тогда жили моя бабушка, дед Андрей и две их дочери. Эвакуироваться было невозможно – на станции не хватало составов. Люди набивались в поезда битком, поезда отъезжали от станции, через пять минут оказывались в чистом поле, на открытом месте – и немецкие бомбардировщики тут же, на глазах у оставшихся, их бомбили... Спаситься из охваченных огнём составов было невозможно... Бабушка говорит, что это была не эвакуация, а самоубийство.

Все понимали, что в город скоро войдут немцы. И моя мудрая, мужественная бабушка сказала старшей дочери: «Муся, тебе нужно идти на фронт. Если ты останешься под немцами, – для тебя это будет гибель. Или с тобой сделают что-нибудь страшное, или тебя угонят в Германию, в рабство. Но если ты пойдёшь на фронт, – у тебя есть шанс вернуться живой. Здесь такого шанса у тебя нет». Таким образом, отправив дочь на фронт, бабушка спасла ей жизнь.

Муся была на фронте связисткой. Она прошла всю войну, побывав в самом пекле: Курская дуга, Сталинград, Белоруссия... Была несколько раз ранена и контужена, попала в окружение, заболела тифом, и её, в беспамятстве, умирающую, солдаты выносили из окружения... Но она не умерла!

На фронте Муся вступила в партию (тогда многие вступали в партию, когда рвались на передовую). И после войны она никогда не принадлежала себе: её вечно посылали из дыры – в дыру...

* * *

Интересный штрих Мусиной биографии: она тоже вышла замуж за вдовца с маленьким ребёнком и воспитывала Люсю, свою приёмную дочь – как родную, повторив бабушкин подвиг материнской любви.

А в начале пятидесятых Мусю и её мужа Сашу, тоже фронтовика, боевого лётчика, послали в Западную Украину на борьбу с бандеровскими бандами. Но борьба у них была совершенно мирная: Муся работала в школе, а дядя Саша – председателем колхоза. Их послали не воевать, а налаживать мирную, нормальную жизнь. В противовес тому хаосу и беспределу, который там в то время творился...

И когда они жили в Западной Украине, в апреле 1954 года, у них родилась дочка Таня. И бабушка взяла меня, и мы поехали с ней в Западную, в город Шумск, – помогать Мусе управляться с младенцем.

* * *

Мне ещё не было четырёх лет, но я на всю жизнь запомнила некоторые эпизоды из той поездки. Как мы ехали в набитом битком, старом, с дощатыми лавками поезде... Как сошли на каком-то пустом полустанке, и там стояла телега с лошадкой и мужиком, и как мы ехали

на этой телеге по страшной распутице... Грязище была жуткая – апрель, а дорог – никаких, просто чёрное месиво... Мы ехали от станции к городу по просёлочной дороге, мимо дремучего леса, который шумел кронами на ветру, от этого стоял сильный шум... (Так вот почему город называется Шумском!)

Этот мужик, который нас вёз, то и дело оборачивался и очень странно, даже страшно смотрел на нас с бабушкой. Мне было не по себе от этого взгляда. Его смысл я разгадала, только когда уже была взрослой. А тогда мне было просто страшно. Я прижималась к бабушке, бабушка прижимала меня к себе. Мы ехали в гробовом молчании, за всю дорогу не было проронено ни слова. Теперь я понимаю, что бабушка всю дорогу молилась. Чтобы нам доехать до этого Шумска живыми...

Помню грязные, кривые улочки этого городка, похожего на деревню, серые шершавые заборы... Помню чёрную снаружи и чёрную внутри страшную избу, в которой жила красавица Муся со своей семьёй. Тёмный деревянный стол да русская печка, да железная кровать – вот и вся обстановка. Помню керосиновую лампу, блики света и теней, мечущиеся по стенам и потолку... Помню цинковое корыто с красной от марганцовки водой, в которой бабушка, Муся и её муж, дядя Саша, торжественно купают красненького младенца – Танюшку. И все такие радостные, счастливые... Прямо светятся! А мы с пятилетней Люсей смотрим на это священнодействие расширенными глазами...

* * *

Бабушка, вспоминая порой ту нашу поездку, ужасается:

«И как я тебя, малого ребёнка, потащила тогда в Западную?! Как мне такое в голову могло прийти? Ведь там стреляли из-за каждого угла! Каждую ночь кого-то убивали... Безумная была поездка».

Тем не менее, мы вернулись домой, на Философскую улицу, живы и невредимы. Значит, те пули – были не наши. Не по наши души. Значит, не время нам было умирать.

Ещё про Шумск и про Мусю

А где-то через полгода после нашего отъезда из Шумска, однажды ночью бандиты изрешетили пулями детскую Танюшкину кроватку... К счастью, именно в ту ночь Муся взяла дочку к себе, потому что малышка приболела. Это спасло Танюшке жизнь.

Но оставаться там Муся уже не могла. Она понимала, что их ждёт выговор по партийной линии и ещё разные санкции, но для неё в тот момент главное было спасти детей. И они схватили дочек и бежали из этого Шумска, не оглядываясь...

* * *

Дальше у Муси была трудная жизнь: за бегство из Западной Украины, их, двух фронтовиков, сослали в село Черниговку, где они жили в ужасных условиях, ничуть не лучше, чем в Шумске. Только что пули не свистели из-за каждого угла.

Мы с бабушкой ездили к ним и в Черниговку. Муся с семьёй ютилась в какой-то подсобке в школе. Здесь же, в школе, и работала – кажется, техничкой, а дядя Саша вроде бы завхозом. Имея строгий выговор по партийной линии, ни Муся, ни дядя Саша долго не могли устроиться на нормальную работу.

А потом Муся родила ещё одну девочку, Наташу, и теперь у них было три дочери. А дядя Саша, удручённый заточением в Черниговке и самой бесперспективной работой, постепенно пристрастился к бутылке. Так что Мусе приходилось не легко.

Но вот что удивительно: она никогда не жаловалась на свою судьбу. Обожала дочерей, умела прощать мужа, жалела его, много работала. Была счастлива, когда ей, наконец, позволили заниматься любимым делом – педагогикой. Наконец, разрешили перебраться в районный центр – в Новомосковск. Поднимала дошкольное образование, налаживала работу в детсадах.

Жили они бедно, и бабушка постоянно отвозила для Мусиных девочек, которые были младше нас с Маришкой, наши платья, из которых мы быстро вырастали...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.